

СТЕПАНОВ В. РОТА ПОЧЕТНОГО КАРАУЛА

1

Из ворот Кутафьей башни Кремля они вышли без четверти восемь — первая смена почетного караула у могилы Неизвестного солдата. Впереди шел Андрей, ему в затылок — Сарычев, слева — разводящий сержант Матюшин. Они повернули направо, в предупредительно кем-то уже открытую железную калитку, и, стараясь ровнее держать карабины, начали спускаться по гранитным ступеням вниз смягченным, как по ковру, шагом.

В Александровском саду всю хлопотала весна. Словно торопясь к празднику, она примеряла лучшие свои наряды и, красуясь, радовалась сейчас прозрачному и звонкому утру, уже розовато согретому по вершинам деревьев, но еще сумеречно прохладному внизу, на влажных дорожках.

Вековые липы и вязы расправляли корявые сучья, льнули к замшелой стене, являя чудо вешнего воскрешения, — на иссохших было ветвях опять зеленели побеги; деревья помоложе трепетали сыроватой, только что проклюнувшейся листвой, в которой вызванивали птичьи голоса; розовато-белым нетающим снежком то тут, то там успела посыпаться вишня; а на газонах и клумбах давали свой бал цветы.

Ровными рядами пунцово пламенели похожие на маленькие факелы тюльпаны; как бы зажженными от синими огоньками переливались под набегавшим [217] ветерком какие-то другие, незнакомые цветы; с ними соперничали желтые, похожие на морские звезды; и словно щедрой рукой разбросанные, жемчужно блестели в траве маргаритки.

Остро пахло свежескошенной травой — пряным запахом лесной поляны. Березы и впрямь толпились невдалеке, совсем по-деревенски, робея перейти гранитную дорожку, что отделяла их от пышного празднества деревьев и цветов.

Даже столичные жители — сине-голубые ели — жались к древней стене, стесняясь выйти из шеренги в это всеобщее веселье; лишь пошевеливали острыми, как шишаки буденовок, верхушками, разомлев под солнцем, которое сияло уже так высоко и горячо, что, казалось, вот-вот начнет падать золотая капель с ослепительных жарко пылающих куполов соборов.

Но Андрей ничего этого не видел.

Выдерживая шаг по Матюшину, словно был к нему привязан, он, как только ступили на пронзившую сад гранитную дорожку, все старался проникнуть взглядом в ее конец, туда, где уже угадывался над мраморным горизонтом порывистый всплеск пламени.

И чем пристальнее всматривался он в мельтешащий вдалеке огонек, чем ближе подходил к нему, тем тревожнее и тягостнее делалось на душе — порой ему казалось, будто, кого-то маня, трепещущая ладонь с быстрыми, гибкими пальцами возникала и пряталась за гранитным возвышением.

Огонь приближался.

Стиснув онемевшими пальцами приклад карабина, Андрей с секунды на секунду ожидал команду. Он знал, что и Матюшин эти секунды уже отсчитывает, и позавидовал его поразительному чутью ко времени: сержант только мельком взглянул на часы, когда выходили из караульного помещения, но сейчас в нем завелась и пошла ходить по кругу секундная

стрелка, которая высчитывает время до каждого мгновения, до каждого шага и поворота, ибо вся сложная, непостижимая для штатского человека премудрость подобного исчисления сводилась к тому, чтобы встать у Вечного огня ровно в восемь. «Тик в тик», — как говорил лейтенант Гориков.

Эта секунда отсчета, как ее ни ожидал, ни ловил Андрей, упала неожиданно, коротким выдохом [218] команды: - Пошел!..

Матюшин почти прошептал это слово; за восемь высчитанных сержантом метров до могилы Андрей сделал полный шаг, Сарычев свой шаг «подсек», укоротил, и Матюшин очутился между ними.

— Смена, стой!

Секунды опять замедлились — справа полыхнул над нишей Вечный огонь. По обеим его сторонам они и должны были сейчас встать.

«Чок!» — властно высек приклад, и Андрей мгновенно, по выработанной привычке, ощутил, как то же самое, что и он, проделал одновременно с ним Сарычев, и это ощущение близнецовской слитности с товарищем, шагнувшим на ступеньку, расковало и придало уверенности: в ногу, сначала шелестящим, как бы осторожным шагом, они поднялись на возвышение и, уже в полную силу чеканя по мрамору, пошли на свои места к разделявшему их пилону, на зеркальной плоскости которого лежала, будто только что снятая, солдатская каска. Рубиновыми огоньками брызнула в глаза росинка, дрогнувшая на каске у самой звезды.

Еще карабинное «чок!» — сигнал к повороту «кругом!». Андрей повернулся лицом к площади и замер. Далеко-далеко — не верилось, что в каких-то десяти шагах, — стоял теперь одинокий Матюшин, такой картинно-красивый, выутюженный, до каждой пуговицы начищенный, в фуражке с перечеркивающим лоб красным околышем, с затейливо перевитыми по правой стороне мундира серебряными шнурами аксельбантов, что можно было подумать, будто здесь его поставили специально, для наглядности.

Но Матюшин задержался не для красоты. Андрей перехватил придиричивый взгляд, прицельно переведенный с него на Сарычева и обратно, и подобрался, подтянулся — перед уходом сержант хотел убедиться, хорошо ли стоят часовые.

Наверное, все было хорошо, точно по уставу, потому что, постояв еще с минуту, Матюшин ушел тем же строевым шагом, каким привел их сюда, как будто команды теперь подавал не он сам себе, а другой, невидимо шагающий рядом с ним сержант. Он уходил, поблескивая штыком карабина, все уменьшаясь и уменьшаясь к концу дорожки, и издали четкий шаг Матюшина можно было принять за стук метронома, словно под Кремлевской стеной пустили часы, отмерявшие [219] время вот этими маятниковыми движениями черных, лаково сияющих, отражающих каждую травинку сапог.

Андрей перевел дух, глянул вниз — на кромке ниши, на мраморном уступе, уже лежали вроде бы чуть-чуть подпаленные струящимся снизу, из бронзовой звезды, пламенем две грозди сирени и букетик незабудок.

Это было удивительно — ведь ворота еще не открывались, еще никто не мог сюда прийти. Но первая смена, заступившая в караул в восемь ноль-ноль, всегда заставляла принесенные кем-то цветы. Кто-то приходил сюда раньше, а кто — неизвестно. Даже милиционеры, всю ночь дежурившие возле

Александровского сада, пожимали плечами. Ворота отворяли ровно в восемь, но не было случая, чтобы к этому времени на мраморном уступе, рядом с Вечным огнем, не лежали цветы. Как будто невидимки проникали сквозь чугунную ограду, торопясь к началу караула.

Странная мысль пришла Андрею, мысль о цветах, о том, что одни и те же, они очень разные — на могиле и на праздничном столе.

Ветка сирени сверху пожухла, закурчавилась, но еще жила, дышала, а незабудки сникли, едва голубели уже редкими, непоблекшими звездочками — все-таки вблизи огня им было жарко. И, глядя на увядающий букетик, Андрей вдруг вспомнил о главном, чем жил со вчерашнего вечера, с того момента, когда его имя было объявлено в списке почетного караула у могилы Неизвестного солдата. Он забыл, не мог думать об этом главном, пока шел сюда, пока встал у Вечного огня, и сейчас обрадовался вновь обретенному чувству, чувству ожидания встречи, которая вот-вот должна была произойти.

«Сейчас рядом с незабудками он положит букетик своих любимых подснежников, — загадал Андрей. — А она принесет тюльпаны...»

Но главное было не в том, кто с какими цветами придет. Смысл ожидаемой радости сводился к тому, что эти двое увидят его, Андрея Звягина, в парадной форме стоящим возле Вечного огня. «Пусть сам убедится, пусть знает наших, — подумал Андрей, предвкушая сюрприз. — Кого-нибудь на этот пост не поставят... А она... Она ведь никогда не видела меня таким...» Андрей хотел сказать «красивым». [220] Он расправил плечи, вдохнул полной грудью и взглянул прямо перед собой.

За чугунной оградой шумела Москва. Мимо Александровского сада, обтекая его полукругом, проносились легковые машины, но, поравнявшись с тем местом, откуда уже был виден трепещущий над мраморным возвышением огонь, они учтиво сдерживали бег. Прохожие с любопытством поглядывали за ограду, как будто хотели убедиться, выставлены ли часовые, и, увидев двоих, стоящих навтыжку, решительнее сворачивали к воротам.

Андрей перевел взгляд на пламя, пульсирующее над прокаленной звездой, — огонь то распускался, дрожа побледневшими языками, то вновь наливался красным, пурпурным, сжимался, закручивался внутрь.

«Если долго смотреть в огонь, то можно увидеть в нем все, что захочешь, — вспомнил он не то прочитанное, не то услышанное где-то. — Кажется, лейтенант Гориков рассказывал, будто бы все, кто приходит сюда, видят в пламени лица погибших».

Но в зыбком, вскипающем, как бы гаснущем и вновь оживающем пламени Андрей, как ни напрягал воображение, не мог выстроить хоть какую-то осмысленную картину. В огнистых переливах и завитках он хотел представить лицо того, кто, возможно, лежал под этой звездой. Он помнил ту фотографию наизусть — до закрученных вопросиками бровей, до затаенной в уголках губ улыбки, до ямочки на подбородке, что выглядела совсем как глазок на картофелине. Выразительнее всего на фотокарточке получились глаза — с такими четкими, живыми зрачками, что казалось, сохранив свой живой блеск, они смотрят с другой стороны, сквозь фотобумагу. Солдат словно бы подмигивал. Кто-то даже сравнил эти глаза со светом умирающих звезд... Кажется, Настя... Да, она.

Нет, в извивах пламени терялось, как будто сгорало даже это, почти знакомое, лицо. Огонь для Андрея оставался всего лишь огнем.

«Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен...» — прочитал Андрей медленно: бронзовые буквы читались отсюда наоборот. Тридцать семь букв... «Имя твое неизвестно...» Но почему, почему неизвестно?

И вчера в роте спорили — как из запутанного клубка вытягивали ниточку простой логики. В самом деле, почему неизвестно? Почему? Начать хотя бы с [221] того, что фамилия была указана в повестке. Явился на сборный пункт. Потом внесли в список отделения, потом — роты, батальона, полка, дивизии, армии. Его фамилию выкрикивали на вечерних поверках. И когда посылали в бой, в разведку, на любое задание, ведь знали же по фамилии!

Лейтенант рассказывал, что во время войны солдаты носили в кармашках гимнастеров медальоны — пластмассовые патрончики, в которые заворачивалась бумажка с фамилией и адресом, на случай если убьют. Некоторые, правда, их выбрасывали перед боем суеверно, чтоб не накликают смерть. Значит, убивали безымянного? Неизвестного? Но ведь кто-то видел, кто-то был рядом! Неужели так и шли, шли вперед, вперед, не оглядываясь на убитых, не успевая записать их фамилий? Как могли ставить обелиски без имен?

Где-то Андрей читал, не то в кино видел: пополнение прибыло за десять минут до боя — не успели записать фамилий. «По порядку номеров рассчитайсь!» — «Первый, второй... тридцатый...» И — в атаку, фамилии выясняли потом.

А теперь красные следопыты ищут, ищут... На сколько лет им работы? Наверное, хватит их детям и внукам.

Черная, с антрацитовыми блестками плита была безмолвна. Ветер чуть тронул ветку сирени, как будто взъерошил перья, и Андрей опять подумал о тех, кого ожидал.

«Почему не открывают ворота? Они, наверное, здесь... Они подойдут первыми, и я скажу им, скажу все...»

Он совсем забыл, что ничего не сможет им сказать: часовым на посту разговаривать не положено.

Андрей покосился вправо: створки тяжелых чугунных ворот медленно расходились, поблескивая золочеными наконечниками.

«Наконец-то!» — обрадовался Андрей.

Но толпа, хлынувшая было в ворота, замялась, запнулась, кто-то ее остановил.

Напротив, в конце дорожки, зашевелился, полыхнув алыми лентами, большой венок. За ним Андрей различил военных в золотистых фуражках и в брюках с красными и голубыми лампасами.

Венок поплыл прямо на него, покачиваясь, словно живой. И уже можно было различить сопровождающих — стараясь [222] выдерживать ровность шеренг, неторопливым шагом к Вечному огню приближался примерно взвод маршалов и генералов.

Андрей подтянулся, выпрямился, как бы прибавляясь в росте, напряжился и стоял теперь, пытаясь даже не мигать. Что-то непривычное

было в этом шествии: обычно солдаты подходят к начальникам, а эти сами подходили к солдатам.

Стараясь попадать в ногу, маршалы и генералы поднялись по ступенькам, остановились, и на зеркально-черных сапогах первой шеренги ало отразились, заиграли блики Вечного огня. В середине этой шеренги, искрящейся золотом погон, козырьков и пуговиц, Андрей увидел и сразу узнал Министра обороны. Маршал смотрел на него. Но не тем придирчивым взглядом начальника, старшего по званию, который норовит подметить какой-нибудь непорядок, в лице министра Андрей уловил оттенок любопытства и доброты.

Как по команде, никем не произнесенной, но одновременно услышанной, маршалы и генералы приложили руки к козырькам фуражек и с минуту так постояли — вроде бы все вместе и каждый по отдельности, отдавая честь.

Министр обороны задумчиво смотрел Андрею в глаза. «А ведь это он мне отдает честь, мне...» — мелькнула стыдливая мысль, и, залившись краской, Андрей не выдержал взгляда, потупился, одеревенел. И уже не видел, а только почувствовал, как опять, будто по команде повернувшись, маршалы и генералы сбивчивым строем пошли по дорожке обратно.

Гулко стучало в висках. Едва уловимым движением — незаметным постороннему — Андрей переступил с ноги на ногу и снова выпрямился. Военные были уже далеко. И в тот момент, когда в распахнутые ворота вплыл новый венчик, откуда-то, не то сверху, не то снизу, раздалась повторенная всем Александровским садом густые звуки хорала. Им ответили деревья и древние стены. Тоскующий и молящий о чем-то женский голос вплелся в эту могучую песню, вырвался из нее, взметнулся, воспарил над садом, и у Андрея перехватило дыхание. Сразу обмякли, ослабли колени...

Он стоял один на один с Вечным огнем. Почему он? Почему именно он? Было утро 9 Мая... [223]

2

Когда это началось? Вчера? Неужели полтора года назад?

Поезд мчался сквозь ночь, словно вырываясь из темноты, что настигла его внезапно, посреди степи. За вагонным окном ярко проступили огни. Ближние из них светляками прочерчивали темень и гасли где-то позади, а дальние проплывали медленно, мигали, прощально подрагивая лучистыми ресницами. Мелькнул желтоватый уютный квадрат окна — люди дома, под крышей. А у него под ногами чугунно гремели, отстукивали что-то колеса, и он ехал, сам не зная куда.

Из грохочущего в ночи вагона Андрей впервые в жизни увидел тогда своих родных, как в перевернутый бинокль: далеко-далеко и совсем маленькими. Пока подрастал, и мать, и бабушка все еще были самые большие, самые главные со своим непререкаемым авторитетом. По-детски беспомощными, одинокими и незащищенными казались они теперь. Наверное, это чувство внезапного повзросления чаще и острее всего приходит в дороге.

Андрей рос у матери один, но маменькиным сыночком не считался. Наоборот, мать всегда, при каждом удобном случае подчеркивала, словно старалась кому-то доказать, что единственный сын растет не в оранжерее и что, хоть он и чадо ненаглядное, а манна небесная ему в рот не сыплется.

Может быть, тем самым она хотела компенсировать недостающую мужскую строгость: отец ушел от них, когда Андрею не исполнилось и трех лет.

Сейчас стояло перед глазами непривычно растерянное ее лицо, сведенные непонятной болью брови, словно она сдавала какой-то свой материнский экзамен и теперь не знала, что ответить строгому, несговорчивому экзаменатору. «Когда же ты успел, Андрей?» — все повторяла мать и нервно теребила в руках повестку из военкомата.

В плацкартном вагоне заняли двенадцать полок подряд. Андрей то и дело выходил в тамбур курить. Железный скрежет переходных мостков между вагонами, едковатый запах разогретого мазута и карболки навевали тоску. Но первопричиной скверного настроения была неизвестность, которая ждала в конце пути. Перед самым отходом поезда вдруг выяснилось, [224] что их группу распределили вовсе не в воздушно-десантные войска — ВДВ, как было обещано в военкомате, а совсем в другие, непонятно какие войска. Тревожный слухок повторился и окреп. И взоры надежды обратились к сопровождающему — молоденькому лейтенанту с нежным, по-девичьи белым лицом. Но тот загадочно обводил своих подопечных невинным взглядом, элегантно поправлял туго затянутую, еще сияюще новенькую портупею и отмалчивался.

Странный человек был этот лейтенант. И виду не подал, когда один из призывников, оправдывая свою оплошность тем, что парикмахерская была закрыта на учет, заявился на сборный пункт неостриженным Льяняные космы «а ля Тарзан» волнисто ниспадали почти на плечи. Парня звали Руслан, а его имя совсем не подходило к фамилии — Патешонков. Руслан ввалился в купе с гитарой на роскошной голубой ленте. С зеркально отполированной деки обворожительно улыбалась коралловой улыбкой красавица, вырезанная из журнала «Советский экран».

— Понятно, это ваша Людмила, — сказал лейтенант и заинтересованно посмотрел на гитару.

Руслан не заставил себя долго ждать, наверное, не привык, чтобы упрашивали. Тонкими, гибкими пальцами тронул, погладил струны, как бы вызывая песню, наклонил голову, уронив льяняную прядь, к чему-то прислушался и ударил густым медным аккордом. Пушки, что ли, ахнули? Или это взметнулся на бруствер траншеи взвод, которому суждено было погибнуть у деревни Крюково?

У деревни Крюково погибает взво-о-од .

Голос у Руслана был тонкий, не соответствующий плотной фигуре и возрасту, и поначалу можно было подумать, что он притворяется, стараясь петь под мальчика. Но нет, иначе было нельзя. Жалость слышалась в песне. Руслан жалел взвод, от которого почти никого не осталось, и лейтенанта, такого молодого, и становилось не по себе оттого, что возле подмосковной деревни погибали, один за другим падали в снег ребята.

— Молодец, — вздохнул лейтенант. — Хорошая песня!

И все поняли, что Руслан со своей гитарой взял лейтенанта в плен. [225] Вот так, притупляя его бдительность, подкрадывались, прячась то за песней, то за шуткой-прибауткой, то за анекдотцем, к вопросу, не дающему покоя.

— Ну, приедем... А дальше?

Лейтенант молчал. И улыбался.

— Дальше? А дальше то, что было раньше... — И щурил девичьи свои глаза, оставляя хитрые щелочки.

На шестом часу пути, когда из довольно оскудевших запасов остроумия были извлечены уже самые бородатые анекдоты и все слегка надоели друг другу, одурманенные дорожной сонью, по вагону, неизвестно кем выпущенная, полетела «утка». Оказалось, что лейтенанту действительно было что скрывать. Веснушчатый парень с борцовской шеей, у которого даже ладони были рябыми от веснушек, под строжайшим секретом сообщил:

— Тихо... Нас везут в разведшколу... — и, понизив голос, чтобы не услышал лейтенант, таинственно добавил: — Где она, никто, разумеется, не знает. Но в Москве — это точно. Там, между прочим, готовили Штирлица...

Смешок недоверия прокатился по купе. Но все посерьезнели, приумолкли. И даже неунывающий Руслан больше не прикоснулся к гитаре.

Их вагон угомонился только к полуночи. Но Андрей долго не мог уснуть. Внизу гремело и перекачивалось, и, закрыв глаза, можно было представить, что не поезд несется по рельсам, а рельсы, словно выгнутые по дуге меридианы, раскручиваются под ним вместе с земным шаром. Все сильнее и сильнее разгоняется Земля, вертятся чугунные колеса. И вот они уже визжат, как на огромном наждаке, разбрасывая искры.

...Андрей проснулся оттого, что почувствовал на себе чей-то взгляд. Открыл — на него с усмешкой смотрел лейтенант, уже облаченный в мундир, выбритый — ни морщинки на лице, ни складочки на сорочке. По всему вагону плыла приятная волна «Шипра».

За окном, не отставая от поезда, катилось по небу солнце. И чай янтарно плескался в подстаканниках.

— Ну и здоровы же вы спать, штирлицы! — бодро сказал лейтенант. — Подъем, подъем! Скоро Москва!

И от солнца, что оранжевым мячиком подпрыгивало на макушках синеющего леса, и от свежего, парадного вида лейтенанта на душе у Андрея стало празднично.²²⁶

— В Москву, в Москву! Карету мне, карету! — загнав под щеку сахар, в тон лейтенанту скаламбурил веснушчатый Нестеров.

Это была последняя попытка узнать о роде войск, в котором предстояло служить, но лейтенант перебил:

— Патешонков! Играйте сбор — всех в наше купе, уточним родословные.

Руслан охотно ударил румбу.

В купе стало душно, все сгрудились над лейтенантским блокнотом. На разграфленном карандашом листке были записаны фамилии призывников. И тут произошло то, что потом не раз с подначками припоминалось Андрею.

— Звягин! — позвал лейтенант, склоняясь над блокнотом.

— Тут! — вяло отозвался Андрей.

— Не тут, а «я». Образование?

— Десять классов.

— Мать...

— Мастер на ремзаводе.

— Отец...

Андрей растерялся. Почему-то, когда напомнили об отце, перед глазами вставал потертый плюшевый медвежонок.

— Отец где?

— Он у меня на фронте погиб, — неожиданно для себя тихо сказал Андрей.

— Чепуха какая-то, — озадаченно поморщился лейтенант и бросил карандаш на блокнот. — Посчитайте сами, Звягин... Если отцу вашему сорок, когда же он успел воевать? Ему же в сорок пятом десять лет было!

Нестеров прыснул, и этот его хохоток, как запал, взорвал тишину.

— Нет отца, и все. Нет! — покраснев, промямлил Андрей.

— Так бы и сказали! — Отчеркнул что-то карандашом лейтенант и, не сдержавшись, тоже рассмеялся: — А вы, Звягин, сами-то, случаем, не штурмовали Рейхстаг?

А поезд уже въезжал в ущелье из домов. В купе сразу смерклося.

— Москва! — Глянул лейтенант в окно. Он произнес «Москва» как матрос, увидевший после долгого плавания берег: «Земля». [227]

Андрей прилип лбом к стеклу, но той Москвы, какую ожидал, не увидел. Он представлял, что как только кончатся пригородные леса, уже изрядно потрепанные осенним ветром и дождем, так сразу на горизонте покажется Кремль с дворцами, куполами, со знакомым силуэтом Спасской башни.

Но в окнах медленным безмолвным танцем, поворачиваясь то одной, то другой стороной, кружили многоэтажные громады, такие высокие, что их крыши заслоняли небо. И поезд будто съезжился при виде огромного города и уже без былой величавости, почти как трамвай, катился, казалось, посреди улицы.

Потом он дрогнул, запнулся раз-другой и остановился совсем.

— Выгружайсь! — весело крикнул лейтенант.

В автобусе, поджидавшем их на вокзальной площади, лейтенант сделал перекличку. Все были на месте.

Андрей ревниво глянул на погоны сидевшего за рулем солдата. Погоны были малиновыми. «У ВДВ голубые, — расстроился Андрей. — А вот какие у штирлицев?» Патешонков, нахохлившись, уткнулся в воротник пальто и не поднимал глаз.

Минут тридцать ехали молча. Но вот шофер резко затормозил, и Андрей с нетерпением глянул в окно: автобус уперся в зеленые железные ворота с красной пятиконечной звездой. Моментально выскочивший из будки солдат проворно их отворил, автобус дернулся, и ворота с лязганьем захлопнулись.

— Прибыли! — с радостью в голосе объявил лейтенант. — Добро пожаловать!

Он построил их рядом с чемоданами, которые тоже стояли по ранжиру.

Прямая асфальтированная дорога между молоденькими, побеленными известью липами вела к трехэтажным домам, пустым и безмолвным. Перед этими домами, на присыпанной гравием и песком спортплощадке, блестели никелем и отполированным деревом турники, брусья и еще какие-то замысловатые сооружения. А дальше, до конца дороги, справа и слева, куда бы Андрей ни посмотрел, глаза всюду упирались в забор, за которым

возвышались обычные «гражданские» дома — с разноцветными занавесками на окнах, с бельем, развешанным на балконах.

Солдат, отворивший ворота, стоял в дверях будки и с любопытством взирал на прибывших. [228]

— Послушай, парень, — окликнул солдата один из ребят, кажется, Нестеров, — какая это часть?

Небрежно сдвинув со лба на затылок порыжевшую от солнца фуражку, солдат — сразу видно, не первого года службы, — поглядел на них, как показалось Андрею, с сочувствием.

— Ракетный полк кибернетики, — медленно, членораздельно отчеканил солдат и подмигнул.

— Нет, серьезно! Какие войска? — просительно метнулись к нему, перебивая друг друга, несколько голосов.

— Я же сказал, эр-пэ-ка, — повторил солдат и исчез в своей будке.

3

«РПК, РПК, РПК», — рокочущее барабаном это созвучие воспринималось как некий таинственный шифр жизни, которой теперь предстояло им жить.

Лейтенанта Горикова, того самого, что сопровождал их на службу, было не узнать. Что-то переменилось в нем, как только очутились в расположении части: где вагонное добродушие, где веселость и покладистость «своего парня»? Опять собрал всех на плацу, подал команду: «Становись!» И тут же тихо и невозмутимо приказал: «Разойдись!» Позавчера ему не понравилось одно, вчера — другое, а сегодня выяснилось — долго становились в строй, надо в считанные секунды, так, словно к локтям привинчены магниты: раз, два, три — и шеренга как спаянная.

Всех призывников разобрали по росту, и Андрей, у которого рост был метр восемьдесят пять, попал в первый взвод — взвод кандидатов в роту почетного караула. Оказалось, что ниже ста восьмидесяти сантиметров в РПК вообще не берут.

— Р-р-рав-найсь!

По этой команде надо повернуть голову направо — как можно резче — и увидеть грудь четвертого человека. Если нагнешься — покажется пятый, а может, и шестой, а завалишься чуть назад — все заслонит первый, правый. Грудь четвертого человека — в самый Раз, высчитано, выверено веками строевой практики, стараясь выравняться, Андрей скосил глаза на грудь Аврусина, уже проявившего незаурядные способности к Шагистике. Сухопарый, жилистый, Аврусин весь был как на шарнирах, и лейтенант, сразу оценивший «природные [229] данные», уже несколько раз выводил его из строя для наглядной демонстрации строевых приемов. Аврусин Андрею не нравился, неприязнь началась еще в вагоне. Не кто-нибудь, даже не лейтенант, а почему-то именно Аврусин сделал тогда замечание Руслану за длинные волосы. Его-то какое дело?

Третьим стоял Нестеров — бледный, растерявший свои веснушки, с тем мучительным выражением послушания и покорной внимательности на лице, с каким у доски стоит незадачливый ученик, — Нестерову уроки строевой не давались, он часто путал ногу, не мог подладить отмашку рукой.

Смешливый, готовый по пустяку расхохотаться, Линьков стоял слева от Нестерова, едва сдерживая улыбку, и лейтенант подозрительно на него посматривал.

Совсем рядом, касаясь правой руки, вытянулся Руслан Патешонков. С роскошными своими кудрями он распрощался в день приезда и сейчас был удивительно похож на ощипанного петушка. Его гитаре разрешили висеть в каптерке.

— От-ставить!..

Лейтенант неторопливо осмотрел шеренгу — медленно-медленно слева направо, потом зигзагами: от подбородков (не слишком ли опущены) к ногам (не слишком ли сведены носки сапог), — и румянец, свекольно заливавший его щеки, растворился, лейтенант наконец-то позволил себе улыбнуться.

— А он не простак, — шепнул Андрею Патешонков. — Это для первого знакомства — рубаха-парень и прочее, а потом так зажмет — запищим.

Патешонков сказал это совсем тихо, но лейтенант услышал, и воздух будто разорвало:

— Р-р-раз-говорчики!

На его щеках опять проступили свекольные пятна.

Прошелся вдоль шеренги сосредоточенный, словно шахматист, дающий сеанс одновременной игры. Вскинул затененные ресницами, посветлевшие, совсем штатские глаза:

— Вопросы есть?

Андрей ослабил ногу, через смущенное покашливание спросил:

— У меня есть, товарищ лейтенант. Что же это все-таки такое, эр-пэ-ка? — Конечно, он знал, но интересно, что скажет лейтенант. [230]

Лейтенант молча кивнул — вопрос показался ему существенным.

— Матюшин! — не оборачиваясь, позвал он стоявшего позади не то загоревшего, не то просто смуглого долговязого сержанта. — Устав гарнизонной и караульной служб!

Матюшин бегом кинулся в казарму и через минуту вернулся с тоненькой книжкой.

Лейтенант нащупал взглядом Андрея:

— Звягин, выйти из строя!

Андрей сделал вперед два шага, неловко покачнувшись, повернулся лицом к шеренге.

— Читайте вслух, погромче! — приказал лейтенант, протягивая устав.

Андрей открыл первую страницу и вопросительно посмотрел на лейтенанта.

— Страница сто семьдесят шесть, — с расстановкой, поднимая взгляд вверх шеренги, словно видел эту страницу на противоположной стене кирпичного дома, подсказал лейтенант Гориков, — параграф триста сорок первый... Нашли?

Андрей впился в строчки.

— «Почетные караулы... — начал он неуверенно. — Почетным караулом называется подразделение (команда), назначенное для отдания воинских почестей. Почетный караул назначается для встречи лиц, указанных в статье двадцать первой...»

Андрей запнулся: что за чайнворд?

— Отлистайте на страницу семнадцать, — невозмутимо сказал лейтенант.

— «Начальник гарнизона встречает прибывающих в распоряжение гарнизона Председателя Президиума Верховного Совета СССР, Председателя Совета Министров СССР, Генералиссимуса Советского Союза, Министра обороны СССР, Маршалов Советского Союза и адмиралов флота Советского Союза. Для встречи этих лиц выстраивается почетный караул».

— Стоп! — оборвал лейтенант и поднял ладонь. — Ясно, что за лица? — И подтянулся, развернул плечи, словно сейчас на плацу должны были появиться эти государственного ранга люди. — Продолжайте, — кивнул он Андрею, не меняя позы.

Андрей уже со знанием дела вернулся к знакомому параграфу и продолжал читать спокойнее, даже с [231] выражением:

... — «Кроме того, почетный караул может назначаться: к боевым знаменам, выносимым на торжественные заседания; на открытие государственных памятников; для встречи и проводов представителей иностранных государств; при погребении военнослужащих, а также гражданских лиц, имевших особые заслуги перед государством».

— Стоп! — опять остановил лейтенант. — На сегодня хватит, остальное проработать самостоятельно. Вопросы? Нет? Разойдись!

Шеренга пошатнулась, распалась, и, тяжело громяхая сапогами, словно подошвы были железные, солдаты ринулись к лавочке — перекурить.

Кто-то выхватил из рук Андрея устав.

Патешонков, вытянув худую, петушиную шею, восторженно толкал Андрея в бок.

— Королей и герцогов видел? Ни в жизнь! А тут они сами тебе навстречу! Ваше величество! Рядовой Звягин!

Андрей нехотя поддержал шутку:

— Я предпочел бы принцессу...

— И во Дворец бракосочетаний! — рассыпался смешком Линьков.

— Тебе все шуточки... — грустно одернул его Андрей.

После перерыва лейтенант Гориков представил им командира отделения.

— Сержант Матюшин! — Щелкнул каблуками долговязый сержант, тот самый, что бегал за уставом, и доверчиво посмотрел на шеренгу.

Одет он был опрятно, даже несколько щеголевато, но в пределах той допустимой нормы, которая позволяет выглядеть одновременно и уставным, и элегантным. Мундир облегал его плотную фигуру так, словно был сшит на заказ, хотя и казался поношенным, как бы уже выбеленным солнцем. И всем сразу понравилась эта не парадная, а будничная, свойственная солдатам последнего года службы подтянутость, стройность, которая дается не напряжением, а естественна, как привычная поза или походка.

— Ну, так с чего начнем? — простецки, по-свойски улыбнулся сержант и, опустив голову, в каком-то веселом своем раздумье прошелся вдоль строя.

Это его добродушие, товарищеская непринужденность [232] (подумаешь, чего бы ему выламываться: на каких-то два-три года старше) сразу

передались шеренге. Она зашаталась, как забор, потерявший опору. И из возникшего тут же говорливого ручейка, побежавшего от фланга к флангу, выплеснулся озорной голос.

— Начнем с кибернетики!

Сержант поймал этот камушек, брошенный в его огород, не моргнув глазом.

— Пожалуйста, можно... Вот вы, — уперся он немигающим взглядом в осклабившегося Линькова, — ответьте, пожалуйста, во-первых, что такое кибернетика, во-вторых, каков диапазон ее действия?

— Ну, это и первоклассник знает... — насмешливо отозвался, борясь со смущением, Линьков и потер стриженный затылок так, что, показалось, раздалось поскрипывание.

На его лицо тенью вдруг упала сосредоточенность подающего надежды математика, любимца учителей, бессменного победителя школьных олимпиад.

— Я знаю! — перебил Аврусин. — Кибернетика — это, так сказать, наука об общих принципах управления... о средствах управления и об использовании их в технике, в живых организмах...

— Примерно так, — спокойно согласился сержант и опять взглянул на Линькова: — А как называется труд Андре-Мари Ампера?

Линьков совсем сник, замялся. И остальные стыдливо молчали, потупив взоры, как в школе, когда учитель начинал выбирать в классном журнале фамилии.

— «Очерки по философии наук». Это он придумал название «кибернетика», — торопливо выпалил опять Аврусин.

— Смотри какой деловой! — шепнул Патешонков.

— Прекрасно! — сказал сержант. — Ну а теперь к делу.

— Перекурить бы эту кибернетику! — снова обрел форму Линьков.

И шеренга прыснула, поломалась. Нестеров полез в карман за сигаретами. Сержант встрепнулся:

— Р-р-азговорчики! От-ставить!

И, точь-в-точь как у лейтенанта, что-то в нем выпрямилось, сжалось. Приложил руки к бедрам, словно готовясь сделать взмах невидимыми крыльями, и повернул влево-вправо головой. [233]

— Равняйся!.. Смирно!.. Вольно!

Как бы незримым тросиком схваченные, подбородки дернулись вправо, мгновенно повернулись обратно, и строй снова спружинил вниз на чуть согнутом колене. И — молчок!

— Тема первого занятия: обучение строевой стойке, — строго сказал сержант, спрятав совсем уже глубоко добродушие и простоту, беспечность, которые сближали его с шеренгой, делали похожим на всех. Между ним и строем пролегла черта.

Оказалось, что даже такой пустяк, как постановка носков сапог, требует своей методики.

— Носки свести вместе, делай — раз! — скомандовал сержант. — Носки развести, делай — два!

— Во даем! — развеселился Линьков. — Ансамбль пляски острова Пасхи!

Андрея одолевала усталость. Как сквозь сон, вслушивался он в монотонный голос сержанта, который учил теперь «держать грудь». Смешно подумать, но и в этом тоже была своя наука. Чтоб приподнять грудь, надо сделать глубокий вдох, в таком положении ее задержать, «выдохнуть и продолжать дыхание с приподнятой грудью». Устав давал точную инструкцию.

— А такой фокус знаете? — услышал Андрей и не сразу осознал, что сержант обращался к нему.

— Какой? — механически спросил Андрей, пытаясь сбросить одеревенелость.

— Смирно! — скомандовал в ответ сержант и внимательно посмотрел на Андреевы ноги.

— Поднять носки сапог!

Андрей легко оторвал носки от асфальта, но тут же запрокинулся назад, замахал руками, едва удержав равновесие.

— Вот-вот! — обрадованно, что фокус удался, усмехнулся сержант. — Значит, неправильная стойка, не подали корпуса вперед. Попробуйте еще.

Андрей чуть подался вперед, стараясь не сгибаться, попытался приподнять носки сапог и не смог: они были словно припаяны к асфальту.

— Тупая, как зубная боль, злоба вдруг засадила в Андрее.

— Вы что, смеетесь? — спросил он, едва сдерживаясь, чтобы не сказать грубость. — Я что вам, кукла?

— Над чем... смеюсь? — опешил на мгновение сержант. [234]

Губы его дрогнули, он виновато заморгал, не поняв или обидевшись.

— Над нами смеетесь... — процедил Андрей. — Мы что же, выходит, совсем олухи?

Сержант отступил на шаг, смерил Андрея взглядом, как будто видел впервые, и в щелочках прищуренных глаз, ставших снова похожими на лейтенантские, блеснула усмешка.

— Я бы сказал вам, Звягин. Но вы сами... Надеюсь, сами... — И, отвернувшись, словно сразу потеряв к Андрею интерес, сержант выкрикнул: — Разойдись!

Натертые ноги ныли. Андрей подошел к высоким зеркалам, стоявшим сбоку плаца, под развесистыми тополями. Зачем они здесь? Неужели недостаточно тех, что в умывальнике? На крайний случай можно вполне обойтись своим квадратненьким, вделанным в футляр электробритвы...

Ослепительно высверкнуло голубым, потом над небом мелькнул корявый сук тополя, и, как в дверном проеме, показался незнакомый солдат. Темные, ввалившиеся глаза отрешенно, с болезненным блеском недовольства смотрели на Андрея.

«Неужели это я?» — не узнавал он.

Фуражка нависала на уши, мундир болтался, как на вешалке, и, выдавая едва заметную кривизну ног, жестяными раструбами топорщились голенища сапог. В зеркале качнулось раскрасневшееся лицо Линькова.

— А ты знаешь, зачем эти трюмо? — скорчив рожицу, спросил он. — Строевую отрабатывать. С самим собой! Во дают!

Приковылял Нестеров. Жалостно признался:

— Не клеится у меня. Ну хоть ты что... Вместе с левой ногой левая рука поднимается... Какой-то я недоконструированный...

Капли пота скатывались по его щекам, оставляя грязноватые бороздки.

В тот день Андрей еле дождался отбоя. Вытягивая в постели затекшие, сделавшиеся чужими ноги, он долго размышлял о превратностях судьбы, о воле чистого случая, по которому попал в РПК, о будущем, которое виделось ему теперь лишь горячим, отшлифованным подошвами серым плацем, покачиванием бесконечных шеренг, вздрагивающих от ударов барабана... «А этот сержант... — с раздражением вспомнил [235] Андрей. — Тоже еще фокусник... Носки врозь... Кто дал ему право?»

Белый парашют — его мечта — покачивался в синеющем окне.

«Только в ВДВ, только в ВДВ», — повторял про себя Андрей.

Патешонков тоже не спал, вздыхая, ворочался рядом.

— Послушай, Руслан! — позвал Андрей как можно тише. — Ну их к аллаху, а? Махнем в ВДВ? Я больше не могу, понимаешь, не могу... Мне этот плац уже снится.

— Как это — махнем? — приподнялся Патешонков. — Да это же... особая рота!

— Особая топать?

— Выбрось из головы! — угрожающе прошептал Патешонков. — Ты же знаешь... Перевод может разрешить только сам министр...

— А что министр? Напишу министру! — как о само собой разумеющемся сказал Андрей.

Но холмистый силуэт на соседней кровати больше не шевельнулся. Раздался тихий притворный храп.

«Напишу, — решил Андрей, все больше распаляясь от собственной идеи, озарившей беспросветный сумрак завтрашних дней. — Завтра же узнаю адрес и напишу».

И он представил, как закругленно выведет на тетрадном листе: «Министру обороны Союза ССР... Заявление».

Нет, точнее будет: «Рапорт». Но не слишком ли официально? Ведь он не докладывает о чем-то государственно важном... Ведь это всего-навсего личная просьба. Конечно, проще и правильнее: «Заявление».

«Заявление. Уважаемый товарищ министр!» Да, уважаемый... Иначе как же? «Уважаемый...» — прочтет командир всех командиров, и подобреет его лицо. «А что, вполне воспитанный молодой человек», — кивнет министр и улыбочиво глянет поверх очков на стоящего рядом генерала. «Уважаемый товарищ министр! — повторил Андрей, холодея от восторга, от уважения к самому себе, так запросто обратившемуся к столь высокому лицу. — Пишет Вам выпускник средней школы, призванный... согласно Вашему приказу в ряды Советской Армии. — Вот это «согласно Вашему [236] приказу» тоже понравилось Андрею, такую фразу министр не сможет не оценить. — Извините, что отрываю Вас своим письмом от важных дел по... охране, — нет, — обеспечению обороны нашей страны. Но я вынужден, просто вынужден к Вам обратиться... Во время приписки... в военкомате мне было обещано направить меня в ВДВ, — продолжал Андрей подбирать, как ему казалось, для весомости сугубо канцелярские выражения. — Однако

произошло недоразумение. Непонятно, по какой причине я оказался в роте почетного караула, где сейчас нахожусь в карантине. — Андрей все больше вдохновлялся уверенностью, что министр обязательно поймет и исправит ошибку военкомата. — Смею Вас... заверить, — пробовал, перебирал Андрей каждое слово, — я ничего не имею против роты почетного караула. Очевидно, это подразделение носит важную функцию. И эта рота, безусловно, нужна. Однако я ходатайствую перед Вами о переводе меня в воздушно-десантные войска. Во-первых, потому, что я с детства мечтал о службе парашютистов, и, во-вторых, у меня в аттестате только одна четверка, и, следовательно, я мог бы быть более полезен нашим славным Вооруженным Силам в ВДВ. На мой взгляд, в роте, где я прохожу карантин, могут служить и другие, имеющие склонность к основному предмету, а именно к строевой подготовке».

Андрея охватили сомнения: достаточно ли весомы аргументы? «А у него почему нет склонности к строевой?» — озадаченно спросит министр генерала. Нет, что-то не так... Надо высказать свое отношение к службе. Да-да, иначе будет непонятно.

«...Как гражданин Советского Союза, выполняющий священную обязанность, — все больше проникаясь гордостью за себя, шептал Андрей, — я хотел бы отдать все свои силы и знания на самом трудном посту. И солдатские годы я хочу прожить так, чтобы быть достойным тех, кто отстоял нашу любимую Родину...» Эта последняя фраза понравилась Андрею больше всего.

«Вот так и напишу... Завтра же... Узнаю адрес и напишу», — успокоенно согреваясь и засыпая, подумал Андрей.

На другой день, оглядываясь, чтобы никто не увидел, он опустил письмо в почтовый ящик. [237]

4

Дни пошли один за другим, похожие, как солдаты в строю. Время теперь стиснулось командами «Подъем!» и «Отбой!». Разграфленное на минуты, оно заполнялось одним и тем же, повторяемым с утра до вечера: физзарядкой, завтраком, строевыми занятиями, обедом, потом опять занятиями, ужином, коротким, как перекур, «временем для личных надобностей» и усталым забытием сна.

Карантин кончался, и новички, распределенные по взводам, становились в строй роты почетного караула.

Да, это было событие, которого с надеждой и опасением — а вдруг отчислят! — ждали, к которому готовились все, кроме Андрея. Он и не подозревал, как спрятанным, придирчивым взглядом следили за каждым шагом, за стойками и поворотами опытные командиры, ревнивой придирчивостью своей похожие на тренеров, отбирающих самых лучших в сборную страны.

Андрей готовился к другому — упрямо, с неостывающей надеждой ждал он ответа от министра обороны, уверенный, что обязательно удостоится внимания этого самого высокого воинского начальника. И это томительное, каждодневное ожидание крутой перемены в жизни, ожидание торжества справедливости, в которую он верил неколебимо, придавало сил. Он послушно жил жизнью, строго заключенной в пределы забора, выполнял все,

что положено выполнять молодому солдату, но прилежности и старания не выказывал и смотрел на все, даже на себя, стоящего в строю, как бы глазами постороннего человека. Словно два Андрея существовали в нем одновременно: один — равнодушный, как робот, механически исполняющий команды; другой — живой, ранимый по пустякам, обиженный жестоким, несправедливым поворотом судьбы. Этот второй пристально наблюдал за первым и сочувствовал ему. Белый парашютик ВДВ миражно покачивался в небе и не давал покоя.

Взвод новичков бросили «на прорыв» — на кухню. Картофелечистка гудела ровно и, разогреваясь, голодно позванивала. И в тот миг, когда, взыв от удовольствия, она приняла в скрежещущую утробу новую порцию картошки, ее натужный гуд заглушили другие [238] звуки, внезапно ударившие в окна. Ахнули рассыпчато медные тарелки, взвился серебряный голос трубы, басовитому рокоту барабана переливчато откликнулись флейты — и заходили ходуном, забились о стены казарм, заметались в тесноте плаца оглушительные ритмы марша.

Они бросились к узкому окошку — из-за угла казармы выходила на плац радужно-нарядная, яркая и лощеная, как на переводной картинке, колонна солдат. Нет, это были три совершенно разные колонны, слитые маршем в одну.

Впереди за огненно подрагивающим знаменем шли высокие и стройные, один к одному, как на подбор, перетянутые белыми ремнями парни в светло-серых шинелях, в серых каракулевых шапках, и черно-глянцевые их сапоги — шаг в шаг — словно выводили на асфальте какую-то свою мелодию, помогая оркестру, который восторженно гремел им навстречу. Лучась штыками, невесомо плыли над строем карабины — они были живым продолжением этих шагающих, резко разрубающих руками воздух солдат.

Правофланговым первого ряда шел сержант Матюшин. Да, это был он — непривычно сосредоточенный, как бы загипнотизированный музыкой. «Вот теперь и ты топаешь» — со злорадством подумал Андрей, не признаваясь себе, что любит сержантом. Матюшин же, словно почувствовав его взгляд, покосился вправо, и Андрей стыдливо отпрянул от окна.

За первой, общевоинской, под своим — в сине-желтых лучах — флагом печатала шаг колонна солдат в голубых шинелях. Как будто на вертолете прямо на плац опустились летчики — от них веяло льдисто-холодным, бездонным небом, и у Андрея сладкой, щемящей тоской шевельнулось сердце: «ВДВ, почти ВДВ...»

За небесной этой колонной горделиво трепетал третий — бело-синий с красной звездой, серпом и молотом военно-морской флаг. Парни в черных шинелях, в черных брюках клеш отбивали черными ботинками по асфальту, как по бронированной палубе, свой марш морей. И над согнутыми локтями, над взметенными белым прибором перчатками всплескивались, отсвечивали золотом якоря, якоря...

Сбоку всей этой серо-голубой, черной колонны то забегал вперед, то пятился, придирчиво вглядываясь [239] в ряды, в лучистый частокол штыков, офицер в парадной шинели, с шашкой на золотистом ремне. Он что-то выкрикивал, стараясь пересилить оркестр, наверное, тут же, на ходу, делал

замечания и очень был похож на дирижера, который управляет другой, вот этой шагающей музыкой — музыкой парадного строя.

— Командир роты майор Турбанов! — восхищенно проговорил Патешонков.

А Нестеров осведомленно пояснил:

— Встречный строй в полном составе. Поеду встречать премьер-министра Японии. — Он не отрывал глаз, впечатался щекой в стекло, провожая колонну, пока она не скрылась за поворотом. — Черт возьми, неужели меня не зачислят? Ну хоть бы замыкающим!..

— Хватит ныть! — не сдержался Андрей и, выражая полное безразличие, вернулся к картофелечистке. — Ну не возьмут... Свет, что ли, клином? Это же бутафория, показуха! Разве это моряки? Или, может, летчики? Да они ни моря, ни неба ни в жизнь не увидят. Плац — это да. Это их работа... Ать-два левой — и в столовую!

— Ну как у меня отмашка? Посмотри! — не обращая внимания на Андрея, умоляюще обратился Нестеров к Патешонкову.

И там — да, да, именно там, возле картофелечистки, когда Нестеров неуклюже, будто ломаным крылом, взмахнул рукой, изображая строевой шаг, — Андрея осенила простая, но именно в простоте своей гениальная идея. Как он раньше не догадался? Нестеров рвется во встречный строй РПК, а его не берут: руки и ноги враздрай, хоть ты что! Роте нужен особый «шаг», роте нужна особая «рука». Не каждый сможет сделать то, что нужно этой роте. А он, Звягин, любуйтесь, пожалуйста!.. А может, и у него не получается? Не получается, и все. Координация не та, реакция да мало ли что?

Из серой, набухшей тучи, которая, казалось, нарочно повисла над плацем, сыпал мелкий, колючий дождь вперемежку со снегом. Ветер пронизывал насквозь, забираясь под воротник, в рукава шинели. Шли последние отборочные занятия. Сапоги, перемешивающие на асфальте грязную снежную кашу, отсырели, [240] отяжелели и не сопротивлялись холоду. Но Андрея согревало озорное ожидание: затея, кажется, удалась — никто из всего взвода не получил столько замечаний, сколько он.

— Что с вами, Звягин? — обеспокоенно поинтересовался лейтенант. — Не заболели? Портянки хорошо наворачнули?

— Плохому танцору всегда что-нибудь мешает, — отшутился Андрей. — Значит, ноги не из того места растут...

— Жаль, — искренне посочувствовал лейтенант.

Покурили, поглотали теплого дымка и опять: «Выходи строиться», «Становись!». Затолкались, подравнивая шеренгу. И еще не стихший говор сразу оборвала хлесткая команда. Лейтенант повернулся и зашагал навстречу приближавшемуся от казармы офицеру.

Андрей узнал командира роты, который совсем не был похож на того юношески бодрого красавца в аксельбантах, что тренировал на плацу почетный караул. Худощавое, уже немолодое лицо выражало задумчивость и озабоченность.

— Товарищ майор! — вскинул лейтенант к козырьку руку, но тот мягко остановил:

— Вольно, вольно, продолжайте занятия.

Остановился в десяти шагах, спокойным, ощупывающим взглядом пробежал по шеренге. Андрею показалось, что он чуть дольше, чем на других, задержался на нем. Что-то похожее на усмешку мелькнуло в усталых глазах командира.

— Сейчас объявит... — настороженно шепнул Нестеров.

Но командир молчал. Еще раз, теперь уже слева направо, оглядел шеренгу.

— Ну что ж, посмотрим...

Снова поискал-поискал взглядом и как будто случайно остановился на Андрее.

— Вот вы, — показал подбородком командир роты.

— Рядовой Звягин! — выкрикнул Андрей нарочито громко.

Рядовой Звягин, выйти из строя! — не повышая голоса, приказал командир.

И Андрею опять стало весело — никто не мешал ему повторить тот же спектакль, только теперь специально для командира роты. [241]

— Рядовой Звягин, — как бы разговаривая, без восклицания скомандовал майор, — прямо, шагом... марш!

Шлепнув сапогом по снежной жиже, Андрей вперевалку пошел прямо, не затаивая улыбку — со спины ее уже никто не видел.

Но с этой нарочитой небрежностью, едва отрывая ноги от асфальта, слегка волоча их, он прошел шагов семь-восемь, не больше.

— Отставить! — услышал Андрей и не узнал голоса командира — властность, требовательность и раздражение, прозвучавшие одновременно, исказили привычный баритон. В спину прогремело жестью: — Рядовой Звягин! Строевым, шагом марш!

Андрей попытался опять изобразить неуклюжесть и хромоту, но внезапно ощутил, что ноги и руки уже не подчиняются ему, а послушно исполняют приказание командира.

Это было странно: командир молчал, но команда его продолжала повелевать — так от короткого, несильного толчка начинает стучать маятник. Не замечая луж, Андрей дошагал до забора, сам повернулся и отчаянно, поддаваясь новой волне озорства, пошел прямо на командира полным строевым шагом, и не таким, как учил устав, а еще более четким, с резким выбросом руки, с секундной ее задержкой перед грудью — как это он вчера подсмотрел у встречного строя роты.

«На тебе, на тебе! — в такт шагу думал Андрей, дерзко глядя прямо перед собой, стараясь перехватить взгляд майора. — Тоже еще наука!.. Если ты командир РПК, так небось думаешь, что никому эту вашу шагистику не освоить? На тебе, на тебе, на тебе!»

Андрей шел прямо на командира, нисколько не сомневаясь, что тот уступит дорогу: команды остановиться никто не подавал. Снег ошметками летел из-под сапог, грязные брызги доставали до подбородка.

— Стой! — со вскриком нескрытого удивления скомандовал майор, остановив Андрея в трех шагах от себя. И снова, невидимая строю, отчетливо адресованная только Андрею, проступила в глазах командира усмешка: «Вот так-то, дорогой вы мой, знаем мы эти ваши штучки. Становитесь в строй и чтобы больше — ни-ни!»

— Молодец, Звягин! — вслух похвалил командир. — Так ходить! Все видели? Хоть сейчас во встречный [242] строй! — Расправил перчатки, помолчал и, уже не глядя на Андрея, сказал: — После занятий, Звягин, ко мне.

В накуренном кабинете командира роты было тесновато: кроме него самого, разговаривавшего с кем-то по телефону, Андрей увидел трех лейтенантов. Двоих он знал только в лицо — командиры взводов, «морского» и «летного». Лейтенант Гориков сидел на стуле в углу, сосредоточенно рассматривая какой-то альбом.

— Садитесь, — кивнул командир роты, и Андрей, потоптавшись, примостился на краешке единственного свободного стула.

Кабинет и в самом деле мог бы быть попросторнее: в него едва вместились стол и шкаф. На стене козырьком выпирала вешалка с наброшенным на плечики парадным мундиром. Под вешалкой стояли сапоги с негнушимися, начищенными голенищами.

«В полной боевой готовности», — насмешливо подумал Андрей. Он обвел взглядом унылые, пустые стены и над самым столом, справа — при входе сразу и не заметишь, — увидел портрет, который показался ему не то что знакомым, но даже родным. На Андрея по-свойски, как на близкого человека, на единомышленника, смотрел министр обороны. И от этого доброго взгляда, от присутствия рядом маршала, который наверняка уже прочитал письмо и вскоре должен был прислать положительный ответ, Андрей почувствовал себя уверенно и свободно и, теперь уже ничуть не смущаясь, открыто взглянул на командира.

«Если насчет письма, ну что ж... Я за себя отвечаю...»

— Ну так что будем делать, Звягин? — спросил майор, аккуратно положив трубку.

— Вы что имеете в виду? — как можно учтивее уточнил Андрей.

— Я имею в виду ваш кордебалет на плацу. Не хотите ходить? Может, вы вообще служить не хотите?

И майор обвел взглядом лейтенантов, как бы призывая их в свидетели, прося их сочувствия.

— Почему же? — стараясь быть спокойным, возразил Андрей. — Я даже очень хочу служить, но только... не в вашей роте...

Зачем он тогда так, прямо? После Андрей не мог [243] себе простить несдержанного откровения, а вернее ответного взгляда майора, сразу затуманенного, потухшего, не спрятавшего обиду.

— Ваша рота, конечно... Я понимаю... Я ничего не имею против... — фальшиво и запоздало спохватился Андрей. — Но в военкомате мне говорили, в ВДВ...

Майор наклонился над столом, чуть скособочась.

— «Не имею против»... — покачал он головой и слабо улыбнулся грустной, словно оправдывающей улыбкой.

— Я просил бы, товарищ майор... — зазвеневшим голосом, доверяясь этой улыбке, подхватил Андрей.

Он с надеждой, ища поддержки, повернулся к лейтенантам. Они сидели, затихнув, демонстративно поглядывая в окно. Гориков опять уткнулся в альбом, как будто ничего больше, кроме этого альбома, на свете не существовало.

Командир роты выдвинул ящик стола, достал из кожаной папки какую-то бумагу, и по тому, как он на отлете, на весу ее держал, Андрей понял, что бумага очень важная.

— Вот ответ... министра... — строго взглянув на Андрея, сказал майор. Последнее слово он произнес с нажимом, отделяя его от других и тем самым усиливая значение.

«Так быстро?» — изумился Андрей.

— Министр оставляет решение вопроса на наше усмотрение, — медленно проговорил майор, выпрямляясь.

— Что значит — на ваше? — недоверчиво, с тяжелым предчувствием спросил Андрей.

Майор что-то хотел объяснить, но лейтенант Гориков, все время молчавший, вдруг оторвался от альбома, опередил:

— Видите ли, товарищ Звягин, армия — не кружок художественной самодеятельности... Хочу пою, хочу танцую...

— Не надо так, Гориков! — остановил майор.

И, бережно вкладывая бумагу в папку, сказал:

— И на ваше усмотрение, Звягин. Время есть. Есть время подумать... Можете идти.

Майор, три лейтенанта и он сам, Андрей... Да, и было в комнате пятеро. Больше ведь никто не заходил. Но почему Андрею показалось, будто о разговоре с майором уже знала вся рота? Матюшин прошел [244] отвернувшись, Патешонков и Нестеров тягостно отмалчивались с тем видимым безразличием, в котором таилось презрение.

5

Присягу принимали в декабре. Ну да, в первое воскресенье, Андрей тогда еще удивился — только в декабре выпал запоздавший снег...

Андрей ехал вместе со всеми — порядок есть порядок, присягу должен принять каждый солдат, к какому бы роду войск ни относился. Присяга одна на всех, будь ты пехотинец, моряк или летчик. И нет худа без добра: это даже лучше — перевестись в ВДВ уже равноправным, давшим клятву солдатом.

Из новичков в казарме оставался один Нестеров — его отчислили из РПК за непригодность к специальной строевой службе и переводили в другую часть. Нестеров стоял возле автобуса, потирая кулаком покрасневшие глаза, — вчера, когда командир роты объявил о своем решении, солдат, не стесняясь, как мальчишка, заплакал в шеренге. Андрей Нестерова жалел.

Автобус нетерпеливо подрагивал. Лейтенант Гориков — в парадной шинели, перетянутый золотистым поясом — «под шашку», в каракулевой шапке с сияющим «крабом», праздничный и деловитый, словно ему предстояло парадом пройти сегодня по Красной площади, — упруго вскочил на подножку автобуса, в котором уже сидел, тоже весь в новом, сияющий

пуговицами, его взвод, отодвинул, будто полог, край флага, свисающего сверху, пробежал, прощупал взглядом, все ли на месте. Он глянул как бы мимо Андрея, не принимая его в счет, и от этого явно подчеркнутого невнимания, небрежения Андрею стало не по себе.

Три автобуса, вместивших роту, стояли в порядке взводов, и, заглянув в оконце, Андрей увидел впереди этой кавалькады зеленый, с красной полосой «рафик», на крыше которого ослепительно синим светом уже вертелась-мелькала «мигалка». Перед «рафиком», положив на рули белые краги, сидели на мотоциклах затянутые в кожу регулировщики военной автоинспекции. На первом автобусе, как и на двух остальных, торжественно красовалась надпись, обозначающая их принадлежность: «Почетный караул». И недостижимо важничавшие мотоциклисты, и «рафик» с «мигалкой», коим надлежало открыть и держать перед [245] автобусами «зеленую улицу» — так, чтобы до самого места напрямик, без остановок, через кишачие пешеходами перекрестки, — и сами автобусы, в окнах которых мелькали штыки и знамена, — все это придавало колонне особое значение, особый вид. Нет, не простые солдаты выезжали из ворот КПП.

Мотоциклы впереди взревели, дернулись. Поехали.

— Братцы, а ведь мы первый раз за воротами! — на весь автобус выкрикнул Патешонков.

Сдерживая скорость, кавалькада долго петляла переулками, пока не съехала, как бы пятясь, на широкую, окаймленную гранитным парапетом набережную. «Москва! — догадался Андрей. — Москва-река!»

От берега до берега в избытке темных, еще не схваченных льдом вод катилась река, о которой он так много слышал, но которую видел впервые. Автобус нагнал медлительную неуклюжую баржу с белой, свежескрашенной рубкой. Баржа, явно отставая, скользнула назад, и снова от берега до берега, от гранита до гранита недвижно блестела вода. И быть может, волжанин, даже наверняка из тех мест парень, сидевший на задней лавочке, не умеряя природного оканья, вспомнив, видно, свою Волгу, запел сначала тихо, про себя, а потом, забывшись, во весь голос:

Из-за острова на стрежень, На простор речной волны...

И взвод, разминая застоявшиеся в молчании голоса, обрадовавшись случаю, подхватил, грянул так, что лейтенант Гориков, сидевший впереди, непроизвольно оглянулся. Однако замечания не сделал, и это сразу солдаты отметили — чуть-чуть приглушили голоса для вежливости, но петь продолжали свободно.

И вдруг Патешонков, который не отлипал от окошка всю дорогу, опять крикнул:

— Кремль!

И замерла на губах, застыла на выдохе песня; даже «старички», ехавшие по этой дороге, может быть, не первый десяток раз, и те подались вправо: «Кремль!»

Андрей увидел словно бы волшебю вынырнувшую из Москвы-реки легкую, умытую, чистую, как облако, громаду Кремля.

Непривычно было видеть Кремль со стороны Москвы-реки, как бы этой рекой подчеркнутый, словно кто [246] провел по низу прекрасной картины

синей маслянистой кистью. А может, и картина-то вся начата вот этой волнистой полоской реки? Чуть повыше брошен серый штришок набережной и выведен зубчатый, сбегаящий каскадами с еще зеленого, под голубыми елями холма узор стены. А еще выше, на пространстве, занятом уже у неба, — снежная, обметенная вековыми вьюгами, удивительно похожая на ждущую старта космическую ракету колокольня Ивана Великого, и золотым пожаром по куполам, по куполам — то выше, то ниже — солнце. Вот оно размельчилось на разноцветные кусочки — как будто радугой застеклили окна Большого Кремлевского дворца. И слышно: еще дрожит, дрожит в остекленевшем небе набатный гул тяжелых древних колоколов...

Автобус свернул направо, и стройная величавая башня — Андрей никак не мог вспомнить ее названия — заслонила окошко. Боровицкая? Боровицкие ворота? А эти деревья вдоль стены, за чугунной оградой, — Александровский сад?

Опять стена, еще какая-то башня, поворот вправо — и заворчал, зафырчал мотор, попугивая зевак. Приехали.

Вся площадь между темно-бурой громадой Исторического музея и черной металлической решеткой, что вытянулась прямо от башни, огибая Александровский сад, была запружена народом. Но толпу сдерживали легкие переносные ограждения, возле которых, постукивая валенком о валенок, стояли милиционеры. Колонна быстрым шагом бесшумно прошла через распахнутые чугунные ворота в сад и остановилась, выравниваясь вдоль гранитного возвышения.

Стоявший во второй шеренге Андрей сначала увидел только кирпичную стену — высокую, выше макушек елей. Слева выпирала неказистая массивная башня. Но вот подали команду, по которой солдатам-новичкам надлежало выступить в первую шеренгу. Двое перед Андреем расступились, и он шагнул вперед.

Прямо перед ним, шагах в десяти, на возвышении из гладкого, отполированного до сияния мрамора то дрожало, расстилалось, прикикая к бронзовой звезде, то взвивалось, вспыхивая, пламя. Андрей вспомнил, что видел его уже — и не однажды — на экране телевизора, только тогда оно было безжизненно-серым, бесцветным. И теплый комочек шевельнулся в груди, [247] подкатил к горлу. Это было так давно, что уже и не верилось, что было. Да-да, в ожидании Вечного огня — вот этого самого — подсаживались к телевизору бабушка и мать. Бабушка говорила про деда, который погиб в ту войну, а где — неизвестно...

А на площадке, возле самого Вечного огня, уже ставили столики, накрытые красными скатертями, — по одному напротив каждого взвода. И было странно видеть их здесь, на граните, почти игрушечными, стоявшими хрупкими своими ножками под могучей древнекаменной стеной. На скатерти падала крупка утреннего снежка. Да, это был еще декабрь, второй месяц службы.

Командиры взводов — «общевойскового», «летнего» и «морского» — вышли из строя, встали у столиков.

— Равняйся! Смирно! — услышал Андрей привычную команду. Но, произнесенная, как всегда, хлестко, она предназначалась сейчас не только

строю, а еще кому-то другому, ибо в повелительность голоса вплелись нотки уважения.

Вдоль строя шел генерал. Блестела на висках проседь, но держался он молодцевато, да и форма — высокая папаха, плотно облегающая шинель, лампасы — красила, молодила генерала. Он дружелюбно кивнул командиру роты, повернулся к строю, поздоровался.

— Дорогие товарищи солдаты! — тихо начал генерал, но тут же возвысил голос, как бы примеряясь к тем, кто его слушал.

Все-таки, наверно, непросто было держать речь здесь, у Вечного огня, у Кремлевской стены, на фоне которой даже генерал уже не выглядел таким важным и недосягаемым.

— Сегодняшний день запомнится вам на всю жизнь... Клятву на верность Родине вы даете у могилы Неизвестного солдата, у этого вечного пламени...

Андрею показалось, что генерал в упор взглянул на него. «Не может быть, — вспыхнул он и опустил глаза. — Откуда ему знать про письмо... Но даже если доложили, он ни разу меня не видел, а в этой шеренге...»

— Так пусть же гордятся вами и ваши родители, — донеслось до Андрея. — Мы пригласили их сюда, ваших отцов, матерей, родственников...

«Как хорошо, — подумал Андрей, — как хорошо, что здесь нет матери... Как ей объяснить? Может, меня и вообще не допустят к присяге?..» [248] Он покосился влево, туда, где по другую сторону Вечного огня робко жались толпа приглашенных, и не поверил глазам. На самой верхней ступеньке стояла мать, в коричневом своем пальтеце, в повязанном до бровей знакомом зеленом платке. В руке она держала авоську, из которой высовывались две бутылки молока и начатый батон. Грузный краснощекий мужчина в распахнутой дубленке нахально протискивался вперед, заслоняя мать, а она, встав на цыпочки, все выглядывала из-за его плеча, беспомощно скользила по шеренгам глазами.

Казалось, она вот-вот доберется до Андрея, но, перебрав, пощупав лица первых двух шеренг, взгляд матери опять возвращался назад, слепо пыталась она дотянуться до последних рядов и стояла теперь беспомощная и растерянная. Это было как во сне: ни позвать, ни крикнуть. Андрей не имел права даже пошевелиться.

«Наверно, мне не разрешат принять присягу! — вдруг забеспокоился он. — Не разрешат, и всё. Я же сказал, что не хочу у них...» И Андрей откинулся чуть-чуть назад, одеревенел лицом, изо всех сил стараясь слиться со строем. Пусть не увидит, пусть не узнает мать!

— Звягин! — донеслось издалека.

— Тебя, тебя, оглох, что ли? — сердито подтолкнул Патешонков.

— Я! — машинально выкрикнул Андрей.

Чужими, непослушными ногами подошел он к столику, взял лист с присягой и только начал осмысливать первую прыгающую строку, как слева услышал то, чего ожидал и боялся:

— Ан-дре-ей! Андрю-шка!

Перепрыгивая через ступеньки, к нему бежала мать. Почти возле самого столика она поскользнулась и упала бы, если бы подскочивший вовремя

майор не подхватил ее под локоть. Словно загораживая от Андрея, повел ее в сторонку, наклонившись к ней, в чем-то убеждая.

— Читайте, — негромко напомнил лейтенант Гориков.

И от этого командирского голоса, от повелительной жесткости в нем Андрей ожил, пришел в себя. Слева плеснул в глаза огонь.

— Я клянусь... — выговорил Андрей и всей загоревшейся [249] левой щекой ощутил взгляд матери. — Я всегда готов... — Он не видел сливавшихся строк.

Он не помнил, как вернулся в строй, и, когда наконец отдышался, успокоился, глазами нашел в толпе мать — а она, словно того и ждала, поймала, перехватила его взгляд, помахала рукой. «Ну зачем же она сюда с авоськой, с этим батоном?..» — стыдливо подумал Андрей.

Опять исчезли, точно их сдуло, столики. И генерал — улыбающийся, довольный — подошел к приедем, что жалась у Вечного огня, приглашая их ближе к шеренгам.

А сзади, в березах, уже приподнимал, пробовал учтиво, не вспугивая тишины, свои громкие трубы оркестр.

Снова выровнялись по гранитной черте ступенек. Замерли...

— К торжественному маршу, — распевно скомандовал командир роты — «ар-шу-у...» — каменно отозвались вековые стены, — ма-арш! — взлетел восторженный голос.

И его заглушили, раздробили своим рассыпчатым «ах-х-х!» медные тарелки.

Рота шагнула единым, впечатанным в гранит шагом и замаршировала по прямой, как луч, дорожке к воротам, равняясь направо — на пламя, порхнувшее, дрогнувшее над звездой от этой сотни ударивших залпом сапог.

Напрягая шею, Андрей вытянулся: рядом с генералом, приложившим руку к витому козырьку, стояла, вглядываясь в шеренги, мать.

«Мамка-то! Ну прямо как маршал на параде!» — восхищенно подумал он.

Постепенно сдерживая, смягчая шаг, рота вышла за ограду, остановилась возле автобусов и распалась, смешалась с толпой. Было разрешено перекурить. Мать уже стояла рядом, словно шла по пятам.

— Вот ты какой у меня... — сказала она и осторожно, одним пальцем, потрогала золотистую пуговицу. — В каком же звании, сынок? Что-то форма больно нарядна...

Андрей смутился, потупился.

А мать уже копалась в авоське, совсем как дома.

— Вот бестолковая! — всполошилась она. — Совсем запомнила. Молочка тебе взяла... Съешь молочка, сынок... [250]

— Да ты что? — оторопел, сконфузился Андрей. — Ты что, мам? — и он в неловкости оглянулся по сторонам.

Подошел лейтенант, из-под земли вырос.

«Сейчас скажет, — ужаснулся Андрей. — И про письмо, и про то, как сачковал, не хотел маршировать...»

Но лейтенант козырнул матери, с легким, изящным поклоном произнес:

— Здравствуйте... Варвара Андреевна, кажется?

— Она самая, Варвара, — смутилась мать.

«Откуда он знает ее имя?» — удивился Андрей и опять насторожился.

— Хороший у вас сын, — сказал лейтенант. — Привыкает. Мы им довольны.

Андрей зарделся. «Зачем это, к чему?» — подумал он, охваченный внезапной благодарностью к лейтенанту.

— Спасибо на добром слове, — вздохнула мать и счастливыми, повлажневшими глазами взглянула на смущенного Андрея.

Лейтенант опять с улыбкой кивнул и пошел дальше, что-то сказал мужчине в модной дубленке, поздоровался с парнем, державшим разбухший портфель: брат, что ли, к кому?

Мать все держалась за пуговицу и вздыхала, ни о чем не спрашивая, и, простояв так минут десять, переговариваясь о пустяках, они почти ничего не успели сказать друг другу.

Знакомый командирский голос оборвал разговоры, разъединил толпу:

— Кончай перекур, по машинам!

Солдатам, принявшим присягу, и их родственникам было позволено встретиться вечером всего на полтора часа. Странное чувство испытал Андрей, прогуливаясь с матерью по казарменному двору. В этом было что-то несообразное. Мать, прилаживаясь к его широкому, огрубевшему шагу, семенила в своих маленьких сапожках по асфальту, который еще вчера был так ненавистен Андрею. Своими шажками она словно примиряла сына с плацем. Так, во всяком случае, думал Андрей.

И после, спустя месяцы, а потом и годы, он все еще помнил эти легкие, какие-то лесные следы материнских сапожек на белесой поляне, в которую превратился плац под медленным тающим снежком. [251]

6

Правильно кто-то сказал, что на прошлое мы смотрим как с горы на оставленную внизу долину: что ближе к нам, то видится отчетливее, что дальше, то теряется в дымке воспоминаний, и этот тысячеверстный, тысячедневный путь становится для нас зримым, когда остается позади. Теперь Андрей мог бы связать в нечто целое, логически стройное многозвенчатую, разрозненную цепочку событий и поступков, год назад еще неясных, непонятных.

В тягостном, полусонном стоянии на вечерней поверке он услышал однажды свою фамилию, повторенную не в привычном списке роты, а отдельно, с особым значением. Интуитивно воспротивясь, он было напыжился, напустил на себя равнодушие, с каким встречал почти каждое замечание, уверенный, что придираются нарочно, как вдруг сбоку жарким, вполосным шепотом дохнул Патешонков:

— Слышал? Это тебя же! Во встречный строй!

Но окончательно встряхнул Андрея отчетливый завистливый голос Аврусина:

— Во встречный? Звягина? Да у него карабин болтается, как...

Завидовать было чему. Полным признанием готовности солдата к службе в РПК считалось определение во встречный строй, в тот самый строй, которому от имени всех Вооруженных Сил страны доверено торжественно встречать и провожать на летном поле высоких зарубежных гостей. Но, чтобы

попасть на аэродром, надо было помаршировать на плацу не меньше полугода.

Если встречный строй сравнить с отлаженным механизмом, то каждый прибывший в роту солдат, как новая, поставленная на замену деталь, не должен нарушить четкости работы — наоборот, чем незаметнее он «ввинчивался», «впаивался», тем выше оценивалась его строевая подготовка. Трудности наладки этого «механизма» усугублялись тем, что он все время, примерно через каждые полгода, частично заменялся — одни солдаты увольнялись в запас, другие становились на их место; натренированные «старички» привычно выполняли все приемы, новичкам же все давалось с напряжением, их надо было еще «притирать» и «притирать», и делалось это как бы на ходу — рота [252] продолжала нести свою трудную, почетную службу в любое время года, в любой день, в любой час.

Вот эта железная необходимость замены «деталей» на ходу и выработала свою методику строевой подготовки. Нельзя сразу заменить, скажем, полроты или даже полвзвода. Поэтому молодых солдат вводили во встречный строй по одному, по два. И в свой ряд их ставили так, что новичок оказывался посередине — между опытными, уже знающими все тонкости службы солдатами.

Андрея поставили во встречный строй на три месяца раньше положенного срока.

Да, это была настоящая сенсация ротного масштаба. В душе гордясь и смущаясь, Андрей желал теперь только одного — поскорее попасть «на встречу» и доказать Аврусину, что назначение не «прихоть и волюнтаризм командира», как втихомолку утверждал тот, а заслуженный итог, естественное течение службы.

Его назначили в ряд, где направляющим ходил сержант Матюшин. Помнит он стычку на плацу или делает вид, что не помнит? К сержанту давно уже был «притерт» медлительный и молчаливый солдат второго года службы Плиткин. За Плиткиным вместо уволенного в запас Миронова стоял теперь Андрей — под придирчивым оком Сарычева — дотошного и, как считалось в роте, самого талантливого равняющего.

Всем своим видом, холодными, слегка выпученными глазами, брезгливым поджатием губ (про себя Андрей сразу прозвал его «карасем») Сарычев давал понять, что Андрею еще далеко до настоящего эрпэкашника. Словно самим назначением новичка в строй обидели, унизили лучшего равняющего. У Сарычева была странная манера перемешивать в разговоре русские и украинские слова, хотя вырос он где-то под Воронежем. И это делало особенно едкими и колючими его замечания.

Он так и сказал:

— Ты что же, Звягин, поперед батьки в пекло? — и сам же себе, пренебрежительно дрогнув уголками губ, ответил: — Ну, нехай. Посмотрим, який ты строевик...

Андрей пришел на первое тренировочное занятие в тот день, когда рота готовилась к встрече великого герцога. Плац не успевал остыть от шагов, оркестр, едва переведа дух, снова гремел маршами. Они повторяли [253] заходы один за другим — командир роты оставался недоволен.

Даже Сарычев, который за полтора года службы успел встретить трех премьер-министров, двух королей, двух президентов, одну королеву и одного архиепископа, заметно нервничал: видеть великого герцога ему еще не приходилось.

В перерыве, не удовлетворенный короткой справкой-биографией, напечатанной в газете, Сарычев обшарил всю библиотеку и ничего достойного, отвечавшего его запросам, не нашел.

— О премьерах — две полки, а о герцогах нема, — сокрушался Сарычев.

«Герцог Бекингемский! — вспомнил Андрей. — Да это же в «Трех мушкетерах!»»

«Три мушкетера» были у него в тумбочке. Чувствуя, что непременно именно сейчас хочет угодить Сарычеву, Андрей сбегал за книгой.

— Вот, — сказал он преданно, — здесь про герцога.

Сарычев находчивость оценил. Рыбьи глаза его потеплели.

— Читай вслух, — проговорил он на чистом русском.

Андрей сразу нашел нужную страницу.

«...Поправив свои прекрасные золотистые волосы, — начал он, — несколько примятые мушкетерской шляпой, закрутив усы, преисполненный радости, счастливый и гордый тем, что близок долгожданный миг, он улыбнулся своему отражению, полный гордости и надежды... В эту самую минуту отворилась дверь, скрытая в обивке стены, и в комнату вошла женщина. Герцог увидел ее в зеркале. Он вскрикнул — это была королева!

»

— Так то ж про королеву, — разочаровался Плиткин.

— Пригодится. Читай-читай! — закивал Сарычев.

Матюшин, усмехаясь, сидел рядом, прислушивался.

«...Анне Австрийской было в то время лет двадцать шесть или двадцать семь...»

— продолжал Андрей.

Старуха, — обронил Плиткин.

«...И она находилась в полном расцвете своей красоты. У нее была походка королевы или богини. Отливавшие изумрудом глаза казались совершенством красоты и были полны нежности и в то же время

[254]

величия. Маленький ярко-алый рот не портила даже нижняя губа, как у всех отпрысков австрийского королевского дома, — она была прелестна, когда улыбалась, но умела выразить и глубокое пренебрежение...

»

— Это все не в ту степь... — опять прервал Плиткин, помаргивая светлыми, в коротких ресничках глазками и выражая полное пренебрежение к тому, о чем столь вдохновенно читал Андрей. — Во-первых, герцог у тебя французский, а мы едем встречать другого. Во-вторых, когда это было?

— При Людовике Четырнадцатом... нет, Тринадцатом, — запутался Андрей.

— Герцоги остались те же. Герцог, он и есть герцог, — рассудил Матюшин.

Ему, сержанту, конечно, было виднее, какие они есть, эти самые герцоги.

Матюшин знал вопрос. Успел уже, «подковался». Не спеша, как кирпич к кирпичу, выложил:

— Что сейчас это герцогство? Конституционная наследственная монархия. Глава государства именуется великим герцогом. У них эта самая... палата депутатов. А герцог утверждает и закрывает ее сессии, он — исполнительная власть. Министры же вроде советников короны. Между прочим, этот герцог считается у них верховным главнокомандующим... — Матюшин помолчал, что-то припоминая, и назидательно поднял палец: — Учтите, согласно конституции особа великого герцога считается священной и за свои действия он ни перед кем не отвечает.

— Вот это права... А сколько за них платят?

Матюшин и это знал:

— Великий герцог ежегодно получает на содержание от государства триста тысяч золотых франков. Эта сумма специально оговорена конституцией. Не считая ассигнований герцогскому двору...

— Во цэ гарна должность! — присвистнул Сарычев.

— Сударь, — раздался вдруг над ними голос, — не угодно ли вам будет взять метлу и подмести окурки?

Лейтенант Гориков — и откуда только появился! — насмешливо смотрел на Андрея.

— А почему, ваше величество, вы думаете, что это я разбросал? [255] «Ваше величество» — это была, конечно, дерзость. Андрей рисковал, но лейтенант принял юмор.

— Соблаговолите выполнить приказание! — повторил он.

«Ему понравился мой ответ», — с гордостью за свою выходку подумал Андрей и кинулся за метлой.

Делом одной минуты было смахнуть окурки в бачок. Приставив метлу, подобно карабину, к ноге, Андрей отвел ее вправо — по-старинному «на караул» — так стражники приветствовали у входа во дворец королей.

— Ваше величество, ваше приказание выполнено!

— Вы бы лучше с карабином поупражнялись, — нахмурился лейтенант. Но сквозь серые щелочки глаз, как тогда в вагоне, блеснула ирония. — Покажите, Сарычев... Тройной!

«Тройной»? В уставе Андрей такого приема не помнил. Сарычев с удовольствием взял карабин, примкнул штык и, скомандовав самому себе: «На кра-ул!» — неуловимым движением перевернул карабин вокруг себя — только молния стальная мелькнула слева-справа — и замер.

— Тройной с обхватом! — выдохнул после паузы Сарычев. Он посмотрел на Плиткина, на Матюшина, на лейтенанта, ища одобрения, и вдруг повернулся к Андрею: — Повтори!

Андрей смутился. Даже и пробовать не стоило личный, изобретенный Сарычевым прием. И тут вспомнил: в школе только он один из всего десятого «Б» мог по всему коридору, балансируя указкой на пальце, пронести на ее кончике кусочек мела.

Андрей огляделся, нашел камешек, положил на мушку карабина и, скомандовав себе: «На плечо!» — пошел по плацу строевым шагом, глядя прямо перед собой. Он нес карабин «свечкой», по всем правилам, так, чтобы тот не касался плеча, и все ждал щелчка об асфальт. Рука пружинила, немела, но камешек каким-то чудом держался. Андрей повернул назад, вплотную подошел к Сарычеву, приставил карабин к ноге и снял с мушки камешек.

— Bravo, Звягин! — хлопнул ладонями лейтенант и, взглянув на часы, пошел на середину плаца.

Это панибратское, штатское «браво», прозвучавшее в устах командира как поощрение, Андрея смутило. [256]

— А шо? Притираешься... — обронил Сарычев.

И по грубовато-небрежной фразе этой Андрей понял, что принят в ряд встречного строя окончательно.

— Становись! — разнеслось над плацем.

Тренировка «к встрече» продолжалась. Все повторялось, все начиналось сначала, по в этом надоедливом однообразии уже прояснялась для Андрея какая-то осмысленность, какая-то цель.

Оркестр, как заводной, играл марши, а они ходили и ходили по плацу, равняясь на воображаемых высоких гостей, — в колонне по четыре, единым, как вдох и выдох, шагом почти двухсот сапог. Взмах рук, секундная задержка на сгибе, у груди, и до отказа — назад. Словно и впрямь какой-то особой точности механизм отлаживал командир роты. Или нет, он был еще больше похож на скульптора, который из живой, движущейся массы солдат лепил лишь ему видимое произведение искусства.

— Рыжов, корпус вперед, иначе карабином задираете полу! Смагин, не опускайте подбородок! Лямин, где у вас рука? Чернов, грудь!

Командир роты бежал за ними, обгонял, отставал, приглядывался, отступая на шаг-другой, и снова приближался, иногда даже до солдата дотрагивался: ему нужен был тот самый строй, на который с нескрываемым восхищением заглядываются и приезжие, и отъезжающие зарубежные гости.

— Стой! И не шевелиться!

Никто и не шевелился. Только сердце не останавливалось: «бух-бух» — в груди, «бух-бух» — в висках.

— Вольно!

Нет, недоволен был командир, вроде бы даже расстроен.

— Направляющие не равняются в затылок, карабины болтаются. Карабин — это же... Вся красота в карабине. Надо держать «свечкой». Даже чуть-чуть наклонить вперед. Чтобы он парил! И весь строй — не топот, нет! Представьте, вы летите... На взлете... Под марш...

Походил вдоль строя, остановился напротив.

— Звягин! — проговорил командир, как бы извиняясь, не хотелось, как видно, делать замечание. — Звягин, вас касается. Что главное в строевой? Руки, ноги, голова. Три составные. Их надо координировать в движении. [257] Вы же увлекаетесь рукой — забываете про ногу. Потом, подбородок... Палочку, что ли, подставлять? А рот? Не закрывается? Возьмите спичку в зубы...

Сарычев глядел понуро, чувствовал себя виноватым. И Матюшин с Плиткиным стояли, устало опершись на карабины, как на посохи. Вот тебе и новичок!..

Может, они и не об этом думали. Но Андрей так понимал, так расшифровывал их молчание.

«Не возьмут! — холодел он от предчувствия. — Не видать мне встречи! Вот будет радость Аврусину!»

И снова раздавалось на плацу бряцание карабинов, и снова командир шагал старательнее солдат, держа шашку «под эфес». И гремел, задыхался в ликующем марше оркестр.

Не торопясь, с державным достоинством шел к роте высокий гость, сам великий герцог в лице лейтенанта Горикова.

Лейтенант серьезен и глазом не моргнул. Взглянул небрежно на отдавшего рапорт командира роты, кивнул и пошел дальше — вдоль строя.

Андрей чуть не прыснул. Лейтенант — герцог... Но почему остальным не смешно? Замерла, сдвинулась плечами рота, только глаза справа налево, справа налево, в лицо, вслед гостю.

И опять: «Разойдись!» И опять: «Становись!»

Нет, они не просто ходили. Строй РПК. был занят сейчас очень трудной, кропотливой, непостижимой для Андрея по своему смыслу и результату работой. Печать какой-то тайны лежала на лицах солдат, отсвет чего-то только ими видимого, но сокрытого от него. Почему уже тогда, к вечеру, после занятий, Андрей сам понял, что еще не годится для встречного строя?

Лейтенант Гориков сказал то, о чем Андрей уже догадывался:

— Отставить, Звягин, в следующий раз... Понимаете, чуть-чуть... Отмашка...

О, этот торжествующий взгляд Аврусина, оказавшегося рядом!

После отбоя в синем полумраке дежурного света всплыло лицо Сарычева.

— Трэба шлифовать шаг... — дружески подмигнул он.

Только через два месяца Андрея взяли на первую в его жизни встречу. В Советский Союз с официальным визитом прибывал президент великой державы. [258]

7

— Расслабьтесь, расслабьтесь... — озадаченно хмурился Гориков, прохаживаясь вдоль шеренг, построенных на плацу за два часа до выезда на встречу.

И правда, все как будто застыли, онемели; приклады карабинов не ощущались в деревянных ладонях, колени, словно стянутые обручами, не хотели гнуться. Перетренировались, переходили — всю неделю с утра до вечера маршировали на плацу.

— Это всегда так! — Чуть подтолкнул Андрея локтем Матюшин. — Как перед первым раундом, а потом на аэродроме разогреешься — хоть выжимай.

Во время перекура Гориков остановил торопливо пересекавшего плац Патешонкова — до сих пор во встречный строй его еще не поставили, и он, чудак, надулся, даже глаза не поднял, обижался.

— Тащите-ка гитару... Для разрядки, — попросил Гориков, скрывая в голосе вину. В самом деле, почему бы и Руслана не взять на встречу?

И может, мелькнула у парня робкая надежда, обернулся мигом.

Руслан чиркнул пальцами о струны легонько, подражая барабану, пристукнул ладонью о деку, и Андрей сразу узнал песню о встречном строе. Полгода назад в роте этой песни не было и в помине. И хотя Руслан почему-то категорически скрывал свои авторские права, все знали, кто поэт, кто композитор.

Андрей перехватил взгляд лейтенанта — как тогда в вагоне, Гориков влюбленно смотрел на отбивающие такт, как бы живущие сами по себе, хозяйничающие на струнах пальцы Руслана: «Шаг, шаг — шаг, шаг...»

Солдаты страшной той войны Под обелисками уснули, И, заучив пароль весны, Их внуки встали в карауле.

Хотелось подпевать, шагать и разглядеть то, что видел только Руслан своим устремленным мимо, вдаль, поверх окруживших его солдат, взглядом.

Под снегом стой, под ливнем стой! Бессменной будет должность эта. На летном поле замер строй, На теплом полюсе планеты.

Тонкие, но крепкие пальцы снова дробно промаршировали по деке, отбивая ритм припева, грустные [259] глаза Патешонкова осветились изнутри радостью, и теперь не лейтенант Гориков, а он, гитарист, был главным в солдатском кругу, таким главным, как если бы шел впереди роты.

Мы в мир зеленый влюблены, А если что случится, если... Смотри: солдаты той войны В шеренгах юности воскресли.

...Словно спохватившись, вспомнив о чем-то перед самым отбоем, Гориков повел Андрея в канцелярию роты.

«Опять нотация?» — раздраженно поежился Андрей, хотя точно знал, что на встречу президента поедет обязательно — списки почетного караула были утверждены.

В канцелярии Гориков молча достал из шкафа альбом с красочной, витиеватой надписью «История РПК» и, сразу же раскрыв на нужном месте, положил перед Андреем.

— Посмотрите, — сказал Гориков. — Знаете эту фотографию?

Андрей взглянул на большой, почти во всю страницу, туманный снимок, наверное, увеличенный с оригинала: шеренга наших солдат в длиннополых шинелях и шапках-ушанках, какие носили во время Великой Отечественной войны, стояла, держа винтовки в положении «на караул», перед высоким и грузным, чуть сутуловатым человеком в козырькастой морской фуражке. «Адмирал, что ли, какой-то?» — подумал Андрей.

Ничего особенного на снимке не было, но в глаза бросались уж слишком открытые и добродушные лица наших солдат. У одного из них, курносого, толстогубого и, наверное, смешливого, как Линьков, вид был такой, словно это его самого встречал с почетом проходящий мимо шеренги гость. Знай, мол, наших! Но нет, гость был высокий не только ростом. Глаза этого человека в морской фуражке не были видны, вернее, виднелся только краешек глаза, но по всей фигуре, наклоненной к строю, чувствовалось, что наших солдат он рассматривает пристально и придирчиво.

— Третье февраля сорок пятого года, — сказал Гориков. — Ялтинская конференция Глава английского правительства Черчилль обходит строй почетного караула... [260]

Теперь что-то бульдожье, цепкое, желающее схватить мертвой хваткой мелькнуло в лице этого человека. И странно незащищенными показались лица солдат. Особенно вот этот, толстогубый, — сейчас мигнет, не сдержится и улыбнется...

— Обратите внимание, это Черчилль... Прямо забирается, лезет в глаза... Когда его спросили, почему он так внимательно разглядывал наших солдат, он сказал, что хотел разгадать, в чем секрет непобедимости Советской Армии...

Те же самые три автобуса, на которых ездили принимать присягу, нетерпеливо ринулись в распахнутые ворота и, сразу набрав скорость, покатили вслед за манящим синей «мигалкой» «рафиком». Андрей взгрустнул, вспомнив, как полгода назад вот так же ехали они принимать присягу, и по асфальту змеилась поземка, и деревья серебристо пушились инеем, а сейчас по веткам тополей уже бежали зеленые огоньки листьев. Он вспомнил мать, беспомощно стоявшую в коричневом пальтеце на мраморных ступенях возле Вечного огня, авоську с нелепо торчавшими из нее бутылками с молоком и отвел глаза, проглотил застрявший в горле соленый комок.

Они опять долго петляли по переулкам, пока не выбрались из душной, уже затянутой сизым маревом Москвы на шоссе. Колеса зашелестели по асфальту приглушеннее, и стало слышно, как отскакивают от шин камешки, дробью ударяясь в пол под ногами. В автобусе было непривычно тихо, запевала-волжанин сидел повернувшись к окну, никто не спорил, как обычно, а ротные острословы словно забыли все байки и анекдоты. Всмотриваясь в сумрачные, озабоченные лица, Андрей подумал, что все они чем-то напоминали виденных им однажды в кино сосредоточенных парашютистов-десантников в самолете, перед прыжком.

Автобусы остановились во дворе, огороженном низким, почти игрушечным металлическим заборчиком. Было разрешено минут десять — пятнадцать перекурить, но все сразу же столпились возле молоденькой в белоснежной куртке газировщицы. Андрей тоже с удовольствием принял из ее мокрой руки шипучий стакан и отпустил штатный, довольно избитый комплимент. [261]

Не все успели напиться. Знакомая, заставившая тут же бросить в урну недокуренные сигареты команда снова поставила в строй.

Командир роты, туго перетянутый лоснящимися ремнями, с тяжелой шашкой на боку, в сапогах с негнущимися, лакированными голенищами, казался выше ростом, еще большую строгость придавала лицу излишне надвинутая на лоб фуражка, тень от козырька падала на глаза. Острый, ощупывающий его взгляд перебрал каждую пуговицу, пробежал по перчаткам, прочертившим вдоль шеренг белую линию, по носкам сапог, образовавшим на асфальте черную безукоризненно ровную зубчатку.

Он ничего не сказал — все было сказано вчера, на контрольной репетиции — и только лишь для порядка, а быть может, для того, чтобы

размять голос и размягчить скованность, опять овладевшую шеренгами, подал две-три команды.

В небе прогремел самолет. Потом все стихло. И теперь уже турбинный, свистящий звук заметался ниже и ниже...

— Напра-во! Шагом марш! — скомандовал майор тихо, с незнакомой учтивостью, и все поняли: самолет приземлялся тот самый, с президентом.

Они прошли шагов тридцать, и за углом двухэтажного дома открылось летное поле.

Андрей никогда в жизни не бывал на аэродроме и удивился необычайно широкой, какой-то далее степной его пустынности. Если бы не бетон, тянувшийся почти до горизонта, и не вертолет, устало опустивший лопасти и подремывающий невдалеке, то и впрямь — степь.

Ветер гулял здесь свободно, и двое впереди Андрея сразу же схватились за фуражки, затянули на подбородках ремешки.

Семенящим, сдержанным шагом вышли на бетонную полосу, слева разноцветно полыхнули флажки — за свежеевыкрашенным барьерчиком молчаливо колыхались толпы встречающих.

— Стой! — приглушенно скомандовал командир, и Андрей заметил, что рота встала точно поперек взлетной полосы. Невдалеке сверкнул стеклами аэровокзал.

Самолет появился неожиданно. Посвистывая, словно отдуваясь, он серебристо возник рядом, невесомо [262] скользнул по бетону и, мелко подрагивая крыльями, подрулил к шеренгам — это они обозначили черту, возле которой ему надлежало остановиться.

Андрей так и не понял, то ли они подошли, подравнялись под крыло, то ли крыло само нависло над ними.

К дверце «боинга» лихо подкатил, приник трап с наброшенной на ступени красной ковровой дорожкой.

Командир роты встал спиной к самолету, лицом к шеренге, скомандовал «Смирно!» и сам замер, ловя звуки приближавшихся от аэровокзала шагов.

«Как же он увидит, когда надо командовать?» — забеспокоился Андрей, заметив в группе подходивших к самолету людей, очень ему знакомых.

Он помнил их по портретам, но вот так, в десяти шагах, видел впервые и очень удивился сходству. Но еще больше поразился простоте и естественности, обычности человека, которого знала вся страна. В нем не было ни чопорности, ни холодной натянутости официального, облеченного государственными полномочиями лица, встречавшего столь важного и высокого гостя: он шел неторопливо, с кем-то переговариваясь и в то же время успевая приветливо помахать рукой уже начинавшей бурлить толпе.

Советский руководитель приблизился к трапу ровно в тот момент, когда открылась дверца и в ней показался президент великой державы.

И его Андрей узнал сразу, только был он чуть помоложе, чем на портретах, а может, эту моложавость придавала ему порхнувшая по ступеням жена, еще юная и обаятельная на вид.

Толпа сомкнулась, вспыхнули блицы фотоаппаратов, застрекотали кинокамеры.

Выждавший еще с минуту и угадавший каким-то особым чутьем нужный момент, майор скомандовал:

— На кра-ул! — и одновременно с этими словами, повернувшись кругом, с шашкой «под эфес», строевым шагом, оттягивая носки сапог, пошел навстречу отделившимся от толпы советскому руководителю и зарубежному президенту.

Прогремовший «Встречным маршем» оркестр словно запнулся на полуфразе.

— Господин президент!

«Господин президент!» — откликнулся эхом [263] аэродром.- Почетный караул от войск Московского гарнизона в честь вашего прибытия в столицу Советского Союза город-герой Москву построен!

«Построен! ...строен!» — восторженно повторили стены аэровокзала.

«Он совсем не волнуется! Спокойно отчеканивает каждое слово», — с чувством внезапного уважения, граничащего с любовью, подумал о майоре Андрей.

Президент стоял, слегка склонив голову, вслушиваясь в каждую фразу рапорта. Был он одет в легкий серый костюм, свободно и небрежно застегнутый на одну пуговицу, синий галстук подчеркивал белизну сорочки — и весь этот непритязательный наряд, вежливая манера внимательно слушать как бы равняли его с остальными.

Советский руководитель смотрел на майора по-другому — по-свойски доброжелательно, как на офицера, которого давно знал и с которым часто в подобных случаях встречался.

Отсалютовав шашкой, майор повернулся влево, уступая президенту дорогу, и Андрею почудилось, будто далеко-далеко прозвенели струны Руслановой гитары.

Президент шел прямо на него...

Плавно закруглился горизонт, и Андрей почувствовал, что стоит на земном шаре. Рядовой роты почетного караула, солдат первого года службы Андрей Звягин от имени и по поручению Советского Союза встречал президента великой державы. И не струны Руслановой гитары, а фалы, тонкие тросики звенели на высоких мачтах, и флаги двух держав трепетали, плескались на упругом ветру.

И уже не на аэродроме, а во чистом поле стоял богатырь Андрей, — в кольчуге и шлеме, с сияющим мечом в руках — и прямо на него, не сводя ошупывающих, с зеленоватым блеском глаз, шел высокий гость из-за тридевяти земель, из-за тридевяти морей. Андрей держал оружие не в том положении, с каким встречают врага, а «на караул», в жесте дружелюбия и мира, и вся земля советская стояла за ним — и родной поселок с наклоненными над прудом вербами, и Кремль с негаснущими звездами, и мать в своем присыпанном блестками снега пальтеце, и майор, затянутый в сияющие ремни, и даже вот тот, с государственным именем, знакомый по портретам человек — все [264] стояли за Андреем, надеясь на него, наблюдая, как он поведет себя: дрогнет ли, опустит ли глаза...

Президент подошел совсем близко. Нет, он был все-таки старше, чем казался издали. «Ну, взгляни, взгляни на меня», — загадал Андрей и чуть не отпрянул, вспыхнул — президент смотрел на него.

Он смотрел не долго, лишь секунду-другую, но задержалась, отдалась в сердце пристальность его взгляда с затаенным где-то на самом дне зеленоватых глаз любопытством.

Наклонившись к переводчику, президент с улыбкой что-то сказал.

Переводчик, молодой, расторопный парень, повернулся к советскому руководителю:

— Господин президент говорит, что очень доволен выправкой. Отличные парни, превосходный караул.

— Я благодарю гостя, — усмехнулся советский руководитель. — Переведите ему, что было бы очень хорошо, если бы на всей земле остались только роты почетного караула...

— О да! О'кей! — просиял президент и приложил руку к груди.

Они пошли дальше, к толпе, зовущей их трепетом разноцветных флажков.

Остальное Андрей припоминал потом смутно, словно это происходило во сне или с кем-то другим: гулко, в самую душу, бил барабан, а рота, перестроясь в колонну по четыре, шла — нет, не шла, а летела над бетонными плитами в торжественном марше, и Андрей все опасался, что вдруг у него лопнет ремень или задерется зацепленная карабином пола шинели; но в те несколько секунд, пока белесо мелькнуло лицо президента, ничего не случилось, по команде «Вольно!», раздавшейся глухо, как из-под земли, рота глубоко вздохнула, сразу спружинила шаг, и Андрей опомнился уже возле курилки — Матюшин неловко совал ему в рот сигарету.

— Ну что? С крещеньцем, Андрюха!

Переполненный нахлынувшей благодарностью, чувством необыкновенной праздничности, Андрей только и смог спросить:

— Как?

— А ничего, гарно, як в балете! — засмеялся довольный Сарычев. [265] «Какие они славные — и Матюшин, и Сарычев, и... командир роты», — подумал Андрей, радуясь этому знакомому и новому чувству только что с успехом сданного экзамена. Он не знал, что главный экзамен ждал его впереди.

8

— А ты везучий, Звягин, — завистливо вздохнул над тарелкой борща Патешонков. — Надо же, встречал президента... На что Аврусин — и то не взяли. Теперь ты эрпэкашник. Огни и воды и медные трубы... Тебе майор не родня, случайно? Или другая протекция?

Матюшин и Сарычев, сидевшие напротив, одним движением («И тут как на плацу!» — усмехнулся Андрей) придвинули тарелки с макаронами и, словно по команде, нацеленно тюкнули вилками — тирада Руслана не произвела впечатления. Молчал и Андрей, хотя подначка друга польстила.

Сарычев поклевал вилкой по донышку опустевшей тарелки (и когда только успел!), нахмурился, поводит бровями.

— Воды и медные трубы, оно, конечно... А шо доогней, то трэба разжуваты...

Андрей поднял от своей тарелки глаза:

То есть?..

Перевожу, — серьезно пояснил Матюшин, и в его мягкий голос прокрался жестковатый, знакомый по занятиям на плацу командирский холодок. — Сарычев имеет в виду Вечный огонь... Вот когда постоишь у могилы Неизвестного солдата, тогда будешь полный солдат РПК...

«И что особенного? — с неприязнью подумал Андрей. — Что они все кичатся этим постом? Ну, час стоять, четыре бодрствовать... Так это же сплошное удовольствие — в центре Москвы, в Александровском саду. Как говорится, на людей посмотреть и себя показать...»

Он вспомнил строгую нарядность площадки возле Вечного огня, серебристо-узорчатые, как на морозном стекле, кружева инея на гранитных ступенях, жарко струящееся, журчащее пламя над приконченной бронзовой звездой; от этого пламени подтаивало вокруг, хотя морозец тогда был знатный. Но присягу-то они принимали в декабре, а сейчас май, и там небось как в парке — трава, листья, цветы. [266]

— А кто все-таки там лежит? — осторожно спросил Андрей, опять представив ту площадку, как бы просевший мрамор ниши, черную, в серых блесках, глухую, но совсем не похожую на кладбищенское надгробие плиту. Наоборот, чем-то жизненным, привычно светлым, как в дворцах метро, веяло от этого мрамора. — Кто там, как вы думаете? — повторил Андрей.

— Неизвестный солдат, — сдвинув брови и немигающе глядя куда-то мимо тарелки, проговорил Сарычев. — Неизвестный.

Матюшин отложил ложку.

— Его в шестьдесят... по-моему, в шестьдесят шестом похоронили под Кремлевской стеной, — произнес он с таким видом, как будто сам лично присутствовал на похоронах. — На бронетранспортере привезли из-под Крюкова. И наш караул сопровождал...

— В шестьдесят шестом? — переспросил Андрей и вспомнил однажды виденное, но давно забытое.

Кто-то из ребят принес в школу две ржавые, осыпающиеся темной окалиной гильзы, алюминиевый портсигар со слипшейся, будто оплавленной крышкой и полуистлевший помазок для бритья — каких-то несколько волосинок кисточки, зажатых в почерневшей медной ручке. Принесенное было найдено в обвалившемся, старом окопе, но больше всего Андрея поразили тогда не разговоры о владельце этих предметов, смутные предположения о его гибели, приглушенно возникшие тут же, а сами гильзы, портсигар и помазок, нелепо и странно, как свидетельства с другой планеты, лежавшие на учительском столе. Даже нет, не гильзы, будто еще источающие острый запах пороха, и не пустой, смятый, как папиросная пачка, портсигар — Андрей не мог отвести глаз от помазка, быть может за час перед боем касавшегося живых Щетинистых щек. Что-то необъяснимое, несправедливое, не соответствующее логике заключалось в том, что помазок ну если не жил, то все-таки существовал на этом свете, тускло поблескивал медной кругловатой,

как груша, ручкой, из которой выглядывала, словно прорастала, рыжеватая кисточка, а человека, хозяина этой вещи, уже не было на свете...

— Он погиб под Москвой... Понимаешь, погиб. — Сарычев заговорил быстро, горячо, словно в чем-то убеждая и самого себя: — Там же страшные бои были... Восьмая гвардейская Панфилова, танкисты Катукова, [267] кавалеристы Доватора... Они не пустили врага к Москве...

Матюшин, все это время сидевший задумчиво, твердо произнес:

— В Александровском саду он за всех похоронен... За всех известных и неизвестных...

Они помолчали. Почему-то не хотелось притрагиваться к компоту, хотя вот-вот должна была прозвучать команда «Встать!». Второе отделение, сдвинув пустые тарелки и кружки на край стола, нетерпеливо поглядывало на дверь.

— У него ведь и мать, и отец еще живы... — с грустью проговорил Патешонков, потянувшись за фуражкой.

— Возможно, — согласился Матюшин, и хмурое лицо его разгладилось воспоминанием. — Нам сверхсрочник рассказывал, уже уволился... Он тогда солдатом был в нашей роте, в почетном эскорте шел. Помнишь, Сарычев? — Сарычев помнил, кивнул. — Они же тогда от Белорусского вокзала до Александровского сада сопровождали гроб... Строевым шагом, с карабинами, по улице Горького... Народу — тьма, по тротуарам — оцепление. А напротив «Маяковской» какой-то дед прорвался — и к лафету... «Мой, — говорит, — мой сын!» — и все... Ему и так и сяк — ни в какую! Пристроился и шел за лафетом до самой площади...

— А потом какая-то женщина... — напомнил Сарычев.

— Да-да... Многие были в черных платках... Как будто знали, что по улице Горького...

— А вы сами-то стояли у могилы? — спросил Андрей с робким, но уже родившимся в душе решением.

— Я — три раза, — с несвойственной ему горделивостью сказал Матюшин.

— А я — два, — скромно обронил Сарычев.

И тут они словно отдалились, какое-то непонятное отчуждение отодвинуло этих двоих, стоявших на посту у Вечного огня и, значит, знавших нечто такое, что было недоступно Андрею и Патешонкову.

— Помнишь того, с тюльпанами? Ну который в старой гимнастерке приходит?

— Как же... Он сначала обойдет пилоны — и по цветку: Ленинграду, Бресту, Волгограду. А еще, когда мы в паре с тобой стояли, старушка положила кусочек булки и крашеное яйцо... [268]

— Кусочек кулича, — поправил Матюшин.

Матюшин и Сарычев, сидевшие рядом, как будто перенеслись в другое измерение, как бы в иную плоскость бытия, невидимую Андрею и Патешонкову. Вот так в полумраке зрительного зала на лицах, выхваченных голубым лучом и как бы им осеребренных, отражается происходящее на экране.

— А в тот раз, — обращаясь теперь не только к Сарычеву, но и к Андрею, к Патешонкову, все оживляясь, проговорил Матюшин, — подходит мужчина, весь в медалях. Отцепил одну и положил рядом со звездой...

— Это многие делают, — подтвердил Сарычев. — А старушку видел? Как одуванчик, седенькая, при мне минут двадцать на коленях простояла...

— Тяжкое дело, — сказал Матюшин, опять помрачнев. — Самый тяжелый пост...

— Так в чем же все-таки трудность? — недоумевая, спросил Андрей.

Матюшин и Сарычев переглянулись, и оба посмотрели на Андрея как на человека, которому битый час объясняли очевидное и понятное.

— Рота! Встать! — раздался голос лейтенанта.

Все оставшееся после обеда время Андрей мучительно раздумывал над услышанным. «Старички», конечно, важничают, задаются. Но тут было и другое, что Андрей давно подметил, но никак не мог себе объяснить. Он ясно видел: солдаты, чей срок службы перевалил за первый год, вели себя так, словно действительно обладали очень важной, зашифрованной от новичков тайной. И правда, для чего бы это они старались — набивали на пятках мозоли, в кровь сбивали прикладами руки, — только для того, чтобы поровнее пройти?

Но самой большой, непонятной, призрачно мерцающей в пламени Вечного огня тайной было окружено гранитное возвышение возле древней Кремлевской стены.

— Кто же это говорил? Кто же это говорил, что в двенадцать часов ночи к Вечному огню приходят на поверку все неизвестные солдаты?..

«Я должен там стоять. Должен. Обязательно», — сказал себе Андрей. И спохватился — до Девятого мая оставались считанные дни. [269]

Каждый вечер, в час, отведенный для личных надобностей, уже целое отделение тренировалось возле специального макета могилы Неизвестного солдата. И четыре смены, назначенные в почетный караул, готовил не кто-нибудь, а Матюшин.

Сооружение из фанеры мало чем напоминало гранитные ступени, а Вечного огня и вообще не было, и всякий раз, проходя мимо, Андрей немало дивился, с каким старанием солдаты выполняли строевые приемы.

«Артисты! — восхищался он. — Ну прямо артисты! Это надо же так сыграть!»

Он долго присматривался к длинному и тощему Лыкову, который заступал в почетный караул впервые, хотя и прослужил в роте больше года, и ничего выдающегося в его движениях и поворотах не обнаружил.

«Пожалуй, и я так смогу!» — подумал Андрей и попросил у Матюшина разрешения встать очередным в следующую пару.

— Попробуйте, — без воодушевления позволил Матюшин.

Все силы, все, чему успел научиться за эти месяцы, Андрей как бы переместил в руки, перебрасывающие карабин, в ноги, шагающие в такт разводящему.

С первого захода по команде «Стой!», обозначенной стуком приклада об асфальт, у него не совсем синхронно с напарником получился поворот, и это секундное несовпадение не ускользнуло от Матюшина.

— Резче! — поправил он. — Резче! Вы же у могилы Неизвестного солдата, Звягин...

Он разрешил Андрею еще заход, и, кажется, получилось — замечаний не было.

— Ну как, товарищ сержант? — спросил Андрей. Матюшин, не оборачиваясь, вцепившись взглядом в другую, замершую по его команде пару, сказал:

— Неплохо. Только вы не о том, о чем надо, думаете, когда идете...

— А в принципе? В принципе?

— В принципе подход и отход правильные, — уклончиво ответил Матюшин.

«Я же не артист, чтобы перевоплощаться», — обидевшись на сержанта, подумал Андрей

С затаенной надеждой вошел он в кабинет командира роты. [270] Гориков тоже еще не ушел, сидел на привычном месте — возле книжного шкафа.

«Поддержка с фланга», — обрадовался Андрей и не успел открыть рта, как майор, встав из-за стола, предупреждающе поднял руку, перебил.

— Я видел, все видел в окно, — сказал он. — Молодец, Звягин, отлично...

— Ну так... — Забыв, что стоит перед командиром, совсем по-штатски развел руками Андрей и улыбнулся.

— Рано вам еще... — с обезоруживающей ласковостью произнес майор.

— Как рано? — смутился Андрей. — Я уже умею! Вы же видели... — И вытянулся, прижал руки, стараясь казаться выше.

— Не-льзя... — упирая на «не», проговорил командир. — Это высшая честь, Звягин... Понимаете? Высшая.

«Он мстит за письмо министру», — обозленно подумал Андрей и уже повернулся, пошел к выходу, как вдруг на полшаге был остановлен голосом Горикова.

— Минуту, Звягин! Товарищ майор! Может, его под знамена?

Андрей обернулся.

— Хорошо, — сухо согласился майор. — В порядке исключения.

9

На встречу ветеранов прославленной дивизии в почетный караул у боевых знамен командир роты назначил Звягина, Патешонкова и Сарычева. Старшим шел Матюшин. Под его сержантским попечением они должны были доехать на метро до Центрального парка культуры и отдыха имени Горького, там найти у входа отставного полковника, одетого в штатский серый костюм. Еще одна отличительная примета — красная повязка на левом рукаве. Полковник и проведет их к месту встречи ветеранов — на летнюю эстрадную площадку возле Зеленого театра.

Народу было — не протолкнуться, но с краю массивной колоннады они сразу увидели того, кто им был нужен; отставной полковник оказался довольно еще молодым на вид, может, оттого, что подстрижен был «под бобрик», как боксер, и эта короткая, ершистая прическа словно бы умаляла

авторитет его [271] сплошной седины. Он обрадованно, как будто давно их знал, кинулся навстречу, пожал, крепко потряс руки и торопливо повел за собой по красноватой, посыпанной кирпичным крошечком дорожке в глубь парка.

Всюду — по дорожкам и аллеям — расхаживали, сидели на скамейках пожилые люди, принаряженные, как на праздник; встречались мужчины в старых, застиранных, вылинявших гимнастерках, а кое-кто облачился даже в полную парадную форму времен войны, которая была уже не по плечу — топорщилась, казалась слишком тесной.

То тут, то там раздавался радостный вскрик — и пожилые, солидные люди, позванивая гирляндами орденов и медалей, сверкавшими на пиджаках, бежали навстречу друг другу, кидались в объятия.

Непонятное было ощущение — в этом парке, исхоженном тысячько ног, расчерченном на скверы и газоны, пронизанном аллеями и дорожками, в этой пестрой, раскрашенной круговерти люди искали друг друга, как в дремучем лесу. И чтобы они обязательно встретились, почти на каждом повороте и перекрестке была установлена стрелка-указатель, на ней значились названия армий, дивизий и полков. И в этом тоже было что-то невероятное, словно паркультуры и отдыха вдруг оккупировали несметные воинские части и скрытно в нем расположились.

Одна из таких стрелок с названием гвардейской дивизии привела их на открытую эстрадную площадку. Все лавочки — от первой до последней — уже были заняты точно такими же пожилыми людьми, какие встречались на пути сюда. Они сидели тихо, в ожидании неторопливо и негромко переговариваясь. Отставной полковник завел солдат за эстраду, поманил за собой.

Темно-красное полотнище, кое-где порванное и уже истлевшее, словно подпаленное по краям, тяжело развернулось на отполированном древке, и Матюшин ловко его подхватил, когда отставной полковник, видно не рассчитав силы, чуть было не уронил, высвобождая одной рукой из чехла.

— Сарычев — знаменщиком, Патешонков и Звягин — ассистентами, — тут же распределил обязанности Матюшин, передавая знамя Сарычеву.

Тот привычно взялся за древко, потянул вверх-вниз, попробовал знамя на вес, чтобы угадать, как [272] удобнее нести, и, перекинув полотнище влево, встал, приготовился, ожидающе глянув на отставного полковника.

— Пора! — сказал полковник и помахал кому-то в глубине эстрады; тут же щелкнуло, зашипело в репродукторе, и сверху обрушилась, загремела песня: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...»

Сарычев отлично знал весь порядок, весь ритуал. Выйдя из-за эстрады, он не стал подниматься кратчайшим путем на сцену, а обошел сначала всю площадку — до последних рядов — и только потом по проходу начал возвращаться назад. Андрей шел слева от него, изо всех сил стараясь попадать в ногу, стиснув зубы — почему-то дрожал, отвисая, подбородок. Идти было неудобно — слишком узок оказался проход, да к тому же все встали, близко толпились, мешали идти.

Сцена тоже была полна. За накрытым красным столом стояли люди в штатском и военном, и, хотя лица сливались, Андрей почувствовал, что все смотрят на них, несущих знамя.

Он почти не слушал команд, которые отрывистым шепотом подавал Сарычев. Стараясь попадать в ногу, они поднялись по ступенькам и встали за столом президиума в глубине сцены.

Андрей взгляделся. Народу собралось уже много — все места были заняты, кое-кто даже стоял, прислонившись к ограде. Но больше всего Андрей удивился как бы исходящему из передних рядов металлическому мерцанию — никогда он еще не видел так много орденов и медалей.

От зрительного зала Андрея отделял президиум — в двух шагах теснились, горбились спины, и невольно бросалось в глаза, как много собралось вместе седых людей. И было что-то трогательно-смешное в том, что люди эти, с одышкой одолевавшие ступени, грузно занимавшие стулья, называли друг друга Петями, Вовами, Сережами. Словно они по-своему, по стариковски дурачились, вспоминая давнишнюю, детских лет, озорную игру.

Но вот со своего, как видно, председательского, места поднялся тощий, узкоплечий мужчина, сутуловато, вопросительным знаком наклонился над столом, пощелкал пальцем по микрофону, что-то сказал. На [273] худой шее розовато проступили пятна. В микрофоне скрипнуло, зашуршало, и голос стал слышнее, отчетливее.

— Вот посмотрю я вперед, — покашливая, сказал тощий мужчина и повел перед собой рукой, — посмотрю в зал, и кажется: как было нас много, так и осталось. А ведь это не нас, не нас... Незнакомые все лица. Зрителей, значит, больше...

Забулькал графин. Тощий мужчина отпил глоток и обернулся к президиуму. На какие-то секунды обернулся, и Андрей сразу заметил: на стареньком кителе — орден Ленина, три ордена Красного Знамени и медалей — сплошной слиток.

— А посмотрю назад, — осевшим голосом продолжал мужчина, — посмотрю назад — ребят наших все меньше и меньше. На первой встрече, в пятьдесят пятом, восемнадцать человек сидели в президиуме, а сейчас — десять. Только за этот год троих потеряли. А ведь придет день, когда кто-нибудь из нас и в зале-то останется один...

— Когда-нибудь вообще никого не останется! — Заворочался на стуле прямо перед Андреем полный, с блестящей лысиной мужчина.

— Вообще ни одного участника войны, — уточнил профессорского вида старик в очках.

— Участник войны — понятие растяжимое. Всем досталось. А рабочий — не участник, по-вашему? Ну-ка, постой полсутки у станка с пустым животом... Да еще под бомбами...

— Правильно. Вот я и говорю, все военное поколение сходит на нет...

— А как же иначе — диалектика...

— Диалектика, оно верно, а вам не кажется, что вместе с человеком умирает и его время? Что самое главное в нашей биографии? Война...

— Вы хотите сказать, что вместе с последним участником войны умрет и память о войне?

— В какой-то степени — да. То, что останется в книгах и фильмах, — это уже вторичное, так сказать, отраженный свет. Одно дело — смотреть по телевизору фильм о блокадном голоде и попивать чаек с пирожным, а

другое — самому делить на шестерых стограммовый кусочек хлеба. Одно дело — лежать под бомбами, а другое — читать про бомбежку под уютным торшером... [274]

— Так затем и страдали, чтобы детям жизнь досталась посветлее и потеплее...

— Не спорю. А все же «спасибо» хотелось бы услышать и от правнуков. Будущая-то жизнь... рождена вчерашней смертью...

Председательствующий постучал по графину карандашиком — услышал спор этих двоих, — и они замолчали и сидели, насупившись, делая вид, что слушают выступавших, но, наверное, что-то мучило их обоих, потому что мужчина профессорского вида, не выдержав, опять заговорил:

— Вам не приходило в голову, что память поколений работает, как трансформатор? Главным образом, понижающий напряжение. А хотелось бы с повышением.

— Но ток-то все равно бьет... — Лысый усмехнулся. — Вы же помните гражданскую войну, хотя родились в год ее окончания.

«Нет, пожалуй, лысый больше похож на профессора», — подумал Андрей.

— Так мы договоримся до того, что помним Бородинское сражение, — хитровато блеснул очками второй мужчина.

— А что? Помним! Люди уходят вроде бы поодиночке, а получается — целыми поколениями. Поротно и побатальонно, выполнив на этом свете свою боевую задачу... А знамена... — Лысый поискал глазами, повертел головой и вдруг обернулся к Андрею: — А знамена оставляем вот этим...

Андрей залился краской, опустил глаза.

Коренастый мужчина, едва выглядывающий из-за трибуны, рассказывал о каких-то петеэрах, стрелявших по танкам, о том, как, переправившись через реку всем батальоном, они остались в живых на том берегу лишь втроем — и тут выяснилось, что третий не кто-нибудь, а вот этот самый лысый, минуту назад доказывавший свою причастность к Бородинской битве. Трудно, невозможно было поверить, что эти люди, отяжеленные возрастом, бросались под танки, переплывали ледяные реки, бежали к рейхстагу по смертоносной площади. Андрею казалось, будто они рассказывали не о пережитом, а о прочитанном или виденном в кино.

Его взгляд намагничен со встречным из зрительного зала. Подавшись вперед, похожая на старенькую учительницу женщина во втором ряду с двумя блеснувшими на кофточке медалями долго не [275] сводила с него глаз, но, приглядевшись, Андрей понял, что она смотрит как бы чуть-чуть мимо, и догадался, что ее интересует знамя. Она словно прощупывала, перебирала каждую складку и даже как будто шевелила губами, пыталась прочесть вышитую на знамени надпись; наверное, это было очень трудно — женщина щурилась и все больше высывалась над плечами сидевших в первом ряду.

«Что это она?» — удивленно подумал Андрей.

А женщина, вдруг вскрикнув, вскочила с места и бегом бросилась к сцене. Споткнувшись, перескочив две ступеньки, она кинулась к знамени и, с глухим стуком упав на колени, схватила бахромистый край полотнища, прижалась к нему губами. Андрей услышал рыдание.

Он хотел наклониться, помочь встать и уже было нагнулся, но что-то остановило его, и, цепенея от неловкости, от несуразности положения, в котором оказался, Андрей остался стоять как было положено по инструкции, по стойке «смирно».

Зал оледенело молчал. Молчал и сбитый с толку очередной оратор. Председательствующий подошел к женщине, взял ее под локоть, помог встать и, с неловкой улыбкой о чем-то спросив, усадил рядом.

— Товарищи! — сказал он, постучав по графину карандашиком. — Продолжим заседание. Ничего особенного. Просто человек узнал свое знамя...

Андрей вспомнил то, что по пути сюда замечал лишь мимолетно. Указатели воинских частей, расставленные в парке, вели не просто к полкам и дивизиям, а к знаменам. Ну да, к знаменам. Он же видел, как они вспыхивали, рдяно светились среди деревьев. Люди искали свои знамена.

И еще Андрей подумал о том, почему эти взрослые, пожилые люди, почти уже совсем старики, не стеснялись своих чувств. Почему им не стыдно слез... И почему эта встреча, такая внешне радостная встреча ветеранов дивизии, чем-то очень похожа на прощание... Да-да... Встречаясь, они и прощаются. Вот не пришли трое, сидевших за этим столом в прошлом году... А эта женщина?! Что значит — узнала знамя? Когда и где она видела его последний раз? А поколения действительно уходят поротно, побатальонно?

— Продолжим!.. — опять постучал карандашиком председательствующий. [276]

10

Задание командира роты было выполнено, к, прежде чем вернуться в роту, раздобревший Матюшин своей сержантской властью разрешил погулять, поразвлечься полчаса — не каждый день и даже не каждое увольнение удается попасть в парк культуры и отдыха.

Народу в парке прибавлялось. Толпы, несметные, как после футбольного матча, вливались в арку и, бурля, растекались по дорожкам. Воинские части, расквартированные на эстрадных площадках, в читальных павильонах и просто на зеленых лужайках, с каждым часом получали подкрепление, и уже не один, а несколько оркестров перекликались трубами, и то тут, то там возникающие песни перебивали одна другую.

Немного отстав, Андрей перешел ажурный мостик и влился в толпу, которая в странном, безмолвном любопытстве разглядывала что-то возле прицепленного на куст боярышника указателя стрелковой дивизии.

Андрей протиснулся дальше и увидел посреди толпы девушку. Она стояла, потупив глаза, словно чего-то смущаясь, а когда подняла их, очутившийся совсем близко Андрей успел перехватить ее темный, как ему показалось, с золотистыми искорками взгляд. «Глаза с веснушками», — сразу подумал Андрей, но в этих глазах держалась какая-то очень взрослая дума, не соответствующая скуластенькому, со вздернутым носиком личику. Что-то девчоночье и одновременно мальчишечье было в ней, может, потому, что и подстрижена она была «под мальчика» — светлые завитушки, наверное непослушные гребню, проявляли полную непокорную самостоятельность.

Глаза с веснушками словно бы вспыхнули от соприкосновения с человеком, нарушившим неподвижность толпы, и Андрей заметил, как,

оживясь, они скользнули по необычной его форме, на мгновение задержались на аксельбантах и тут же словно погасли, потеряли всякую заинтересованность.

И только сейчас Андрей обратил внимание на то, что разглядывала толпа. Девушка прижимала к груди лист ватмана с приклеенной к нему фотографией. Наискось лист пересекала надпись, выведенная синим фломастером. [277] «Кто помнит?» — прочитал Андрей.

С фотографии, как бы через залитое дождем стекло, смотрел парень в гимнастерке и фуражке, чуть сдвинутой набекрень. Черты лица были размыты, только глаза остались черными, словно проникающими сквозь лист, и с них не слиняла та смешливость, которую много лет назад секундно перехватил и запечатлел объектив аппарата. Парень был примерно того же возраста, что и Андрей, и, если бы не военных времен форма, — солдат из соседнего взвода.

«Кто помнит? — было старательно выведено круглым девичьим почерком. — Рядовой отдельного лыжного батальона 20-й армии Сорокин Николай Иванович. Пропал без вести в декабре 1941 года, под Москвой».

Кто помнит?

Было что-то непонятное, неправдоподобное в этой девчонке, державшей фотографию бойца почти у груди, на ладонях, как держат икону. Было странно видеть девчонку в лакированных, снежно белевших на зеленой шелковистой траве, здесь, в парке, под искрящимся полуденным майским небом. При чем тут фотография? Кто он ей, Сорокин Николай, пропавший без вести где-то под Москвой? Почему спустя тридцать с лишним лет они очутились вместе?

«Наверное, отец», — предположил Андрей и тут же усомнился — не могло быть у этой восемнадцати — двадцатилетней девочки отца, воевавшего в ту войну. Она была, наверное, как и он, с пятьдесят шестого, ну, с пятьдесят седьмого года рождения.

Андрей хотел спросить ее, но почему-то оробел, смутился, отступил в толпу и стал прислушиваться к разговорам.

Толпа приглядывалась, толпа вспоминала.

Рябоватый, в оспинках, как в порошинах, мужчина отставил прямую, негнущуюся ногу, склонил голову, всматривался:

— Сорокин... Сорокин... Был у нас во взводе один — Ванька Сорокин. Ох и наяривал на гармони! Особливо в тот вечер, как будто знал, что последний раз. Под Салтыковкой похоронили. Я потом к его матери заезжал...

Стоявший рядом мужчина в шляпе прищурился близоруко, пыхнул сигаретой:

— Сорокиных-то — их как Ивановых да Петровых. [278] Поди-ка вспомни. А всяко могло быть. Я вот получил пополнение за полчаса до боя и списка-то написать не успел... Какое мне было дело — Сорокин он или Смирнов? Численный состав определил, рассчитал по порядку номеров и — в атаку. А потом восьмерых недосчитался...

И он замолчал, опять глубоко затянулся сигаретой, закашлялся, заморгал: то ли дым глаза ел, то ли никак не мог он простить себя за тот бесфамильный список.

Девушка вздрагивала ресницами, чутко ловила эти слова, и темно-карие, теперь Андрей отчетливо видел, что темно-карие, с золотыми веснушками глаза ее то освещались внутренним светом, то гасли, осторожно перебегая с лица на лицо. Да, она была очень мила и даже, может быть, красива, с хорохористыми, какими-то взбалмошными завитками мальчишеской прически. Интересно, долго она еще будет здесь стоять? С этой непонятной фотографией?

Андрей подвинулся вперед, рука сама потянулась к фотографии, и он тихо, чтобы не слышали другие, спросил:

— И вы Сорокина, да?

Он шагнул непроизвольно, неосознанно и тут же об этом пожалел. Девушка медленно обернулась на его слова с тем выражением раздражения, уже знакомым Андрею, когда любой вопрос воспринимается лишь как желание завязать разговор; ее глаза подернулись холодком. Девушка отвернулась.

— Вы меня не так поняли, — покраснев, пробормотал Андрей. — Я просто хочу вам помочь. Я могу...

Зачем он это сказал?

Любопытство и надежда мелькнули в ее глазах, и, неприступные за минуту до этого, они широко раскрылись и впустили Андрея. Девушка свернула ватманский лист в трубку и медленно, как бы приглашая Андрея, пошла по дорожке, ведущей к выходу из парка.

— Он вам кто? Дед? — спросил Андрей, пристраиваясь рядом.

— Нет, — с недоверчивой улыбкой приглядываясь к Андрею, сказала она.

— Тогда... дядя...

Теперь засмеялись ее глаза. Ей, наверное, нравилась эта загадка. Завитушки на лбу подпрыгнули, она кокетливо покачала [279] головой:

— А вот угадайте!

— Зачем гадать? — деловито проговорил Андрей. — Нужны данные, и все...

— Данных почти нет... Это же последний его адрес: лыжный батальон. А вы что, — резко обернулась она, — имеете к этому отношение? Вы где служите? Эти аксельбанты... Кто носит такую... — Она поискала слово и рассмеялась: — Гусарскую форму?..

Андрей вспыхнул, но не подал виду, что оскорбился.

— Я служу в роте почетного караула, — неожиданно прямо сказал он. — И мы имеем возможность... Разрешите, спишу данные...

— Это что же за рота? Ах да! — Поджав губы и нарочито нахмутив брови, но не скрывая насмешки, она всплеснула руками: — Встречаете королей и герцогов? — И сразу же посерьезнела: — Пишите!

Андрей с готовностью достал записную книжку, отлистал страничку с буквой «С».

— Почему вы решили, что я на «С»? — спросила она с удивлением.

— Я не вас, я его... — пробормотал уличенный Андрей, показывая на ватманскую трубку.

— А я так и поняла, — кивнула она, дрогнув завитушками.

— Так как? — настороженно, боясь, что его стратегический замысел, уже разгаданный, сорвется, спросил Андрей.

— Вот, — сказала девушка, — Настя... Можете позвонить... — И назвала номер телефона.

— Спасибо, — проговорил Андрей.

За что он сказал «спасибо»?

К ним гуськом подходили Матюшин, Сарычев и Патешонков.

— Вы куда провалились, Звягин? — начальственно спросил Матюшин, но, взглянув на девушку, осекся и сказал мягче. — Пора ехать в роту!

— До свидания, — произнес Андрей, желая сейчас одного: чтобы Настя осталась, чтобы не пошла с ними — все-таки у Матюшина вид был параднее да и сам он куда симпатичнее.

— Жду, — подала легкую руку Настя. — До свидания...

До конца аллеи они молчали. Первым не выдержал [280] Матюшин:

— За такие штучки два наряда дают... Мы всесоюзный розыск хотели объявлять.

Андрей не ответил, все ощупывал в кармане записную книжку.

— И когда успел закадрить? От хлопец!.. Поделится бы опытом! — с одобрением посетовал Сарычев...

Поздним вечером, выбрав момент, когда опустел кабинет командира роты, Андрей тенью проскользнул в дверь, подскочил к телефону и набрал уже заученный наизусть номер.

Два гудка он ждал. Нет, два с половиной. Кто-то снял трубку там, далеко-далеко, в сверкающем огнями городе, и ее, да-да, ее голос приглушенно вымолвил:

— Алло!..

Андрей затаил дыхание, боясь потревожить микрофон, выдать себя.

— Алло!.. — с беспокойством повторил голос. Это была она.

11

В казарме ты все равно как на рентгене. Глаза друзей просвечивают насквозь. Линьков шмыгнул носом хитровато:

— Послушай, Звягин, ты, никак, в спортлото выиграл?

И сам себя Андрей чуть с головой не выдал. Однажды на вечерней прогулке он, не обладавший особым музыкальным слухом, без команды, опередив запевалу, вдруг затянул: «Не плачь, девчонка, пройдут дожди». Рота, растерявшись на минуту от такой инициативы, нестройно подхватила, и, когда, выдохнув припев, снова прислушалась, лейтенант Гориков неожиданно подбодрил новоявленного запевалу:

— Продолжайте, Звягин!

Андрей осмелел, взял увереннее, тоном пониже, и эхом ударилось в забор, заметалось в такт вечерним усталым шагам: «Солдат вернется, ты только жди...»

Откуда роте было знать, что Андрей пел о Насте и что, заглядывая в уютные огни «гражданских» окон, сиявших над забором, он мыслями был уже в увольнении, рядом с ней.

...Они встретились возле метро «Университет» без двух минут одиннадцать. Андрей выскочил в стеклянные [281] двери и сразу увидел

Настю: ожидая его, она стояла напротив дверей в синем брючном костюме — похожая и непохожая, совсем другая, чем тогда, и парке. Что-то незнакомое появилось в ней, и в то же время она стала словно бы проще, доступнее. Андрей уловил почему — Настя не держала в руке ватманского листа с фотографией солдата, и они как будто освободились от кого-то лишнего, мешавшего им нормально разговаривать. Почему тогда он так обрадовался, что с ней нет фотографии?

«Она, наверное, забыла», — подумал Андрей, и очень хорошо, что забыла, потому что и он тоже совсем забыл, ничего не успел узнать, а и что он мог сделать...

— Вы первый раз на Ленинских горах? — просто спросила Настя.

— Я в Москве-то, можно сказать, впервые, — признался, смутясь, Андрей.

Они молча пошли вдоль прямого, похожего на огромную аллею проспекта — на тротуаре лежал опавший яблоневый цвет, его, наверное, не успевали подметать дворники. Цвет был густой, пушистый и такой свежий и белый, что от него, казалось, веяло острым холодком первого снега. «Как хорошо тут! — думал Андрей. — Лишь бы она не спросила...»

— Мы идем на мое любимое место, — проговорила Настя. — Вы лес любите?

Он не понял, почему она спросила именно о лесе. Может быть, потому, что в это время они проходили мимо молодых, с зеленоватыми стволами, уже подстриженных тополей, сладко пахнувших первой листвой. У тротуара стояла шеренга голубых елей, таких нарядно-торжественных, словно они сами только что притопали сюда из-под Кремлевской стены.

— Вот мы и пришли, — сказала наконец Настя.

Прямо перед Андреем из темно-зеленого, островерхого хоровода елей устремилось к небу, ввинчиваясь в синеву шпилем, знакомое и непривычно близко увиденное здание. Квадратики бесчисленных окон, уменьшаясь, убегали вверх, как точки на светящейся рекламе.

— Узнаете? — загадочно спросила Настя.

— Университет!

— вот и не угадали, — засмеялась она. — Это же настоящий орган! Правда? Вот те колонны, [282] низы, как трубы... разных регистров. А музыку слышите? — Настя приложила палец к губам, помолчала и не выдержав, рассмеялась: — Вот вам моя тайна. Правда, интересно? Только отсюда, с этого места, можно увидеть университет вот таким...

По аллее из незнакомых, южных, похожих на кипарисы, деревьев они вышли к гранитному парапету, возле которого толпилось множество людей, наверное приехавших сюда на автобусах, что с распахнутыми дверцами поджидали рядом.

— Смотрите, — проговорила Настя, отступив, пропуская его вперед, как бы на лучшее место.

Внизу, за сбегающими с крутого обрыва липами, макушки которых густо обволокло зеленым дымом листвы, голубела, чешуйчато поблескивала в привольном изгибе Москва-река. Она была здесь широкой, берега перехватил легкий, воздушный полумесяц моста.

Деревья ветвились свободно, не по-городскому, многие из них были уже старыми, но даже самые высокие покачивали верхушками далеко-далеко внизу. От деревьев, от реки Андрей перевел взгляд дальше, и ему почудилось, что он слышит музыку. Как в огромной чаше, окаймленной лентой реки, тысячами, а может быть, миллионами окон сверкал на солнце город. Как будто звездное небо упало и вдребезги разбилось о дома. И Андрей с Настей стояли не на смотровой площадке, а на крыле гигантского самолета, что упруго парил над великим городом.

*Над Москвой великой, златоглавою, Над стеной Кремлевской
белокаменной. .. Из-за дальних лесов, из-за синих гор, По тесовым кровелькам
играючи, Тучки серые разгоняючи, Заря алая подымается;*

*Разметала кудри золотистые, Умывается снегами рассыпчатыми, Как
красавица, глядя в зеркальце, В небо чистое смотрит, улыбается.*

В сизой дымке Андрей едва различил маковку колокольни.

— А это правда, будто фашисты хотели затопить Москву? — спросила Настя.

Андрей ничего об этом не знал, и сам вопрос показался ему нелепым: как это можно — затопить такой огромный город? Это же целое море воды надо... И зачем? [283]

— Представляете? — не дождавшись ответа, зябко передернула плечами Настя. — Только бы маковка торчала... Жуть... И весь Кремль под водой...

— А я там присягу принимал...

— Где — там? — не поняла Настя.

— Возле Вечного огня...

Настя резко повернулась, в глазах восхищенно зароились знакомые золотые веснушки.

— В самом деле? У могилы Неизвестного солдата? Ваша рота? Вы стояли там на посту?

— Два раза, — почему-то соврал Андрей. — У нас по очереди...

— Как здорово! — прошептала Настя восторженно. — Вы даже не представляете, как это здорово...

«Сейчас спросит, — смутился Андрей, — о том солдате, а мне совершенно нечего сказать».

— Поехали! — вдруг сказала Настя, схватив его за руку. — Поехали немедленно, тут недалеко. Вы очень нужны одному человеку...

Андрей ничего не понимал. Кому, для чего он понадобился? На гранитном, пригретом солнцем парапете снова встал между ними кто-то третий, и Андрей увидел размытое, словно за мокрым, перевитым струями дождя окном, лицо солдата, чью фотографию держала тогда у груди Настя.

Они вышли из троллейбуса на Мосфильмовской, и Настя повела Андрея по тропке напрямик — через палисадник, заросший акациями, через детскую площадку с разноцветными скворечнями домиков. Минут через пять они очутились возле одноэтажного, длинного, как барак, дома.

Настя уверенно нажала на кнопку звонка и, не услышав ответа, достала из сумки ключ, открыла дверь.

— Вот моя деревня, вот мой дом родной! — весело продекламировала она, пропуская Андрея вперед, и он сразу же споткнулся о приступок — в коридоре, пахнущем свежeweымытыми полами, было сумрачно.

«Коммуналка», — сразу определил Андрей, проходя мимо кухни: вдоль стены теснились три стола, накрытые клеенками и газетами. И чистота в коридоре была коммунальная, подчеркнута оберегаемая и поддерживаемая, возле каждой двери пестрели разнокалиберные тапочки. [284] Настя бегло на них взглянула и по ей только известным признакам определила, что тот, к кому они пришли, должен вот-вот вернуться.

— Подождем, не под дождем! — улыбнулась она извинительно и, пригласив Андрея на кухню, смахнула тряпкой с табурета, усадила возле стола, накрытого новой, еще не запятнанной клеенкой с желтыми ромашками.

«Это ее стол», — догадался Андрей, хотя Насте была бы вроде ни к чему старая, отбитая по краям пластмассовая пепельница в виде охотничьей собаки, устало положившей морду на передние лапы.

Настя поставила на плиту чайник, достала чашки с блюдцами. Голубые подвинула: одну — Андрею, другую — себе, а третью, с еле поблескивающим золотым ободком, старенькую, оставила на середине стола, наверное, для того, кого они ожидали с минуты на минуту.

— Это ведь его сын, — проговорила Настя безо всякой связи. — Помните? На той фотографии. Он-то меня и послал в парк. Сам уже еле ходит... «Неси, — сказал, — покажи... Может, кто признает».

— А он вам... кто? — спросил Андрей. Настя ответила не сразу.

Налила в две чашки чай, села рядом и сказала не очень охотно:

— Длинная история. У меня родители в вечных командировках. Что мать, что отец. У отца любимая поговорка: «Не жизнь, а день приезда, день отъезда». А он... Просто сосед. А теперь вроде за деда...

«Странно, — подумал Андрей. — Совсем одна. Дед, фотография... А при чем тут Настя? И при чем я?» И он опять со жгучим стыдом вспомнил о невыполненном обещании.

— Понимаете, какое дело... Он почти уверен, что его сын лежит в могиле Неизвестного солдата... Погиб где-то недалеко от Крюкова... Или в Красной Поляне... В общем, неизвестно где, но там... И вот Кузьмич внушил себе, что именно его сын под Вечным огнем... Больше двадцати лет искал могилу. И — ничего, ни следа. Многие считают его чудаком, смеются. А мне его жаль. Ну кто, скажите, кто докажет, что под Вечным огнем не его сын? Каждое утро Девятого Мая я вожу его туда... Раньше ходил сам... Каждый день... [285]

Хлопнула дверь, в прихожей раздались шаги, Андрей обернулся.

Прислонясь к дверному косяку, щурясь от встречного света, на них смотрел, поблескивая очками, щуплый, небольшого роста старик в поношенном, с коротковатыми рукавами пиджаке. Зеленая байковая рубашка опрятно застегнута на верхнюю пуговичку. Он уже успел переобуться и стоял в растоптанных суконных тапочках, слегка косолапо отставив ногу. Старик долго приглядывался — с улицы слепило, наверное, как ранней весной.

— Здравствуйте, молодой человек, — с доброй усмешкой проговорил наконец старик, и Андрей с неловкостью ощутил на себе любопытно-придирчивый, изучающий его взгляд.

— Это тот самый Андрей, — привстала Настя. — А это Кузьмич, — повернулась она к Андрею, и в ее голосе послышалось желание, чтобы они сразу же подружились, понравились друг другу. Настя торопливо налила чаю старику.

Пригладив редеющие волосы, старик неторопливо присел рядом, взял чашку, подержал в ладонях, как бы согреваясь.

Очки блеснули совсем близко, и Андрей увидел в упор глянувшие на него из глубокой, родниковой прозрачности стекол увеличенные, расширенные голубоватые глаза.

Старик как будто смотрел на него со дна чистой реки.

— Так, значит, в роте служите, в этой самой?

— В роте почетного караула, — с удовольствием подтвердил Андрей. Но ему чем-то уже не нравился этот старик, вкрадчивым взглядом рассматривающий каждую пуговицу, каждую складку на его мундире.

— Он, оказывается, стоял у Вечного огня! — с гордостью за Андрея, за нового своего знакомого, сказала Настя.

— Как? У самой могилы Неизвестного солдата? — не поверил старик, и голубоватые глаза его под стеклами очков расширились еще больше.

Он опять тем же цепким, по теперь обрадованным взглядом пробежал по Андрею — от погон до сапог, — улыбнулся, нахмурился, снова улыбнулся и обмяк.

— Ах ты, раскудря моя рябина... Да что ж вы раньше-то молчали? [286]

Перелил чай из чашки в блюдечко, подержал немного, остужая, и вылил обратно в чашку — не давали ему руки покоя, не знал он, куда их девать.

— Значит, в роте почетного караула... — как бы с новым удивлением пробормотал Кузьмич. — Видел я, видел, как стоите... Ладно, красиво. И форма опять же...

Он хотел что-то добавить, но, наверное, не нашел слова, только крякнул, махнул рукой и взглянул на Андрея с еще большим уважением и интересом.

— Сколько ж смена?

— Час, — небрежно ответил Андрей.

— И в жару, и в холод?

— И в жару, и в холод. В зависимости от метеоусловий могут быть изменения...

— Так-так. — Старик отхлебнул чаю, закашлялся. И было заметно — о чем-то другом, очень важном хотел он спросить Андрея, но почему-то не решался. Настя смотрела на обоих с ожиданием.

— Вот что мне скажи, — проговорил старик, осторожно и, очевидно, для доверительности перейдя на «ты». — Как там у вас, в роте, полагают... Кто в могиле-то?

Из-под сведенных, как от боли, бровей, в каком-то мучительно неразрешимом вопросе на Андрея опять глянули, как будто со дна реки, глаза. Он смутился, заворочался на стуле.

Но старик не дал ответить.

— Я, конечно, понимаю, — тихо, сожалеюще произнес он. — Как не понимать... Неизвестный солдат — это, так сказать, памятник всем погибшим — известным и неизвестным («И Матюшин то же говорил!»). И огонь зажгли, чтоб наши души греть... Ну а все-таки... Ведь там... — И старик отодвинул чашку, сдавил пальцами небритые щеки и снова пронзил Андрея тем же немигающим взглядом. — Там ведь не вообще солдат лежит, а конкретный... И имя у него есть, и фамилия...

И тут стало слышно, как тикает будильник на подоконнике.

— А я вот все думаю, — убежденно, словно боясь, что ему не поверят, проговорил Кузьмич, — я думаю, уж не мой ли Колюшка там лежит... А, солдат?

Андрей растерянно молчал. «Что сказать? Неужели этот старик...»

— Там неизвестный, — пробормотал Андрей. — Неизвестно... Понимаете, неизвестно кто... [287] Глаза Кузьмича подернулись холодноватым отчуждением.

— Как это неизвестно? — незнакомо-скрипучим голосом отозвался он. — Это вам неизвестно... А нам известно все!

— Я не знаю... Что я? — пожал плечами Андрей, повернувшись к Насте и ища у нее сочувствия.

— И напрасно не знаете! Надо бы знать! — раздраженно подхватил Кузьмич. — Надо бы знать, товарищ рядовой роты почетного караула, по какому случаю и возле кого стоите на часах! А вы небось красуетесь, любуетесь собой, своими этими, как их... аксельбантами...

— Кузьмич! — с укором перебила Настя.

— Я семьдесят лет Кузьмич, — тотчас сердито отозвался он. И, уже не скрывая неприязни, с усмешкой кивнул в сторону Андрея: — И этот... гусар обещал помочь?

Андрей залился краской.

Чувство стыда, обиды, злости переполнило его. Андрей словно бы потерял дар речи, а когда обрел способность говорить, не нашел подходящих слов.

— Как вы смеете?! — запинаясь, выкрикнул он. — И вообще!.. Еще неизвестно, где ваш!.. Он же без вести!..

Брошенные в горячке эти последние фразы уже было не вернуть, хотя Андрей тут же пожалел о сказанном...

Настя стояла бледная. Она в растерянности переводила взгляд с одного на другого.

— Вот так, спасибо, объяснили, дети мои!.. — нервно засмеялся старик, и, схватившись за грудь, закашлявшись так, что на землистом лбу его проступили синие жилы, вышел из кухни.

— Ну зачем вы? — рассерженно прошептала Настя. — Сейчас опять вызывать «неотложку»... А он так хотел вас видеть!..

Андрей, не проронив ни слова, надвинул фуражку и, не попрощавшись, выскользнул за дверь.

От сизого, мелкого дождя, что нудно сеялся по плацу, как нарочно, заряжаясь с утра, набухала шинель, сырой холодной тяжестью наливались

сапоги. Но распорядка дня никто не менял, занятия продолжались, [288] рота готовилась к встрече нового именитого гостя. Глядя на мокрые листья клена, прилипшие к асфальту оранжевыми кляксами, Андрей с тоской вспоминал солнечный, удивительно прозрачный в голубизне майский день, когда в парке культуры встретил Настю. Из промозглого, серого дня осени все это казалось похожим на сон — и лавочка возле пруда, где они тогда на минутку присели, и сумеречная кухонька на Мосфильмовской, и чашка чаю на клеенке в желтую ромашку. Вслед за этим всплыло сердитое, раздраженное лицо Кузьмича, пронизывающий его взгляд сквозь толстые стекла очков, и снова отдавался в ушах его хриловатый, надрывистый голос.

После глупой, досадной ссоры Андрей с неделю Насте не звонил. Но что-то словно застряло в душе комом, хотелось с кем-то поделиться, он не выдержал, рассказал все Матюшину. Почему Матюшину? Почему не Патешонкову, с которым теперь даже сигареты делили пополам? Да нет же, он не был откровенным с сержантом, просто так спросил: «Мог ли быть тем самым стариком, прорвавшим оцепление на улице Горького, когда хоронили Неизвестного, старик, с которым познакомила меня Настя?»

— Вряд ли, — сказал Матюшин и тут же поправился: — А впрочем, чего не может быть... Вот уже сколько лет подряд перед Девятым мая в роту приходит неизвестно от кого денежный перевод с просьбой купить цветы и возложить к могиле Неизвестного солдата. Ты Настю не проморгай, — похлопал он по плечу. — Такие девчата даже в Москве на дороге не валяются.

Андрей позвонил Насте в пятницу и на втором гудке, словно она ждала, услышал ее голос. «Я слушаю...» — настороженно, как бы угадав, кто звонит, произнесла она, и тут же, как только Андрей назвал себя, голос в трубке увял. «Я очень хочу тебя видеть!» — чуть ли не крикнул Андрей, боясь, что она вот-вот положит трубку. «Зачем?» — спросил голос одностонно, равнодушно. И Андрей осекся, замолчал. «Не звони», — проговорила она, и частая, прощальная морзянка гудков запульсировала в трубке.

«Не буду больше звонить. В самом деле, зачем? — злился Андрей. — И надо было ввязаться этому старику! Другие, как люди, запросто знакомятся с девчонками — и никаких тебе обязательств». [289] Но после отбоя, едва Андрей смежил веки, она опять выплывала из голубого, солнечного того дня, брала его под руку и садилась с ним на лавочку. Зажмурившись крепче, он видел ее глаза с золотыми крапинками и губы, чуть тронутые смущением.

В следующую пятницу он позвонил снова, но телефон ответил редкими, отозвавшимися эхом безлюдности гудками. Потом две недели подряд отменяли увольнение, а дни продолжали маршировать своим стремительным, безостановочным маршем, и Андрей не заметил, как почернели стволами и ветвями сбросившие листья тополя, как всю роту облачили в шинели и на плацу прибавилось работы дневальным — командир не позволял упасть на асфальт даже листику.

Накануне очередного увольнения в город, не дождавшись, когда офицеры отправятся домой, он вошел к командиру роты и попросил разрешения позвонить.

— Кому? — настороженно спросил майор.

— Девушке, — признался Андрей.

Командир на секунду смешался, удивленно пожал плечами и подвинул ближе к Андрею аппарат.

— Только не бросай трубку, не бросай! Я очень хочу тебя видеть! Мне нужно сказать тебе очень важное, очень! — быстро проговорил Андрей.

Трубка молчала.

— Я тут не один, звоню от командира, — приглушенно пояснил он.

— Хорошо, — ответила Настя. — На Ленинских горах... В четыре часа...

Андрей чуть не сбил с ног дневального.

...Он ее не узнал. В голубом пальто с белым пушистым воротничком — какой-то счастливый зверек уютно прикорнул у нее на плечах! — стройная девушка стояла к нему спиной. Девушка обернулась и оказалась Настей.

«Она простила меня», — обрадовался Андрей, видя, как за слабым налетом отчужденности уже просвечивают, оживают в глазах золотинки веснушек.

— Куда пойдём? — спросил он как ни в чем небывало и взял ее под руку, стараясь казаться непринужденнее.

К его удивлению, Настя не отстранилась.

— Ко мне! — пряча улыбку, сказала она.

— Опять к старику? [290]

— Кузьмич уехал в деревню... — И, встряхнув головой, Настя повторила повеселев: — Поехали, поехали!

В квартире действительно никого не было, знакомо пахнущие сырой свежестью полы глянцево белели в сумрачности прихожей. Андрей скинул сапоги, остался в носках.

— Вот Кузьмичовы. — Бросила Настя стоптанные шлепанцы.

— Они мне только на мизинец, — отшутился Андрей, не пожелав их надевать.

Настя осталась в коротком платье, со всеми подробностями очертившем фигуру. Сунула ноги в зеленые остроносые тапочки и сразу стала такой домашней и притягательно нежной, что Андрей едва удержался, чтобы не обнять ее, когда она, освобождая вешалку, коснулась его плечом.

— Будь как дома, но не забывай, что в гостях!.. — засмеялась Настя.

Андрей освоился окончательно — отцепил галстук и, закатав на рубашке рукава, полез за сигаретами: вдруг сильно захотелось курить.

— На кухню, на кухню! — погрозила Настя пальцем и наклонилась к холодильнику, переставляя в нем какие-то банки. — Будем готовить обед!

Она держала в руках пакет с картошкой и стояла вся покрасневшая, вроде бы даже чего-то застеснявшись. Андрей тоже смутился.

— Я не хочу, Настя, честное слово, — зардевшись, проговорил он. — Только что в роте пообедали...

— В роте одно, а дома другое, — возразила Настя.

Она ловким движением откинула волосы, и Андрея колюче, с чуть уловимым запахом не то черемухи, не то сирени задело по щеке — Настино лицо было на расстоянии дыхания. На какое-то мгновение что-то жаркое, пылающее, как от костра, соединило их лица. Настя качнулась смутным пятном, отпрянула, словно испугавшись, дрогнувшим голосом проговорила:

— Иди-ка сюда, я тебе что-то покажу...

Под вешалкой она опустилась на колени, выдвинула фанерный ящик и извлекла оттуда пожелтевший газетный сверток. Из свертка показалась тетрадь в темном коленкоровом переплете.

— Вот, читай! — вскинув голову, отбросила прядь волос Настя. — Это Кузьмичова... [291]

— А что тут? — спросил Андрей.

— Садись на кухне и читай, — повторила Настя тоном, каким приказывают детям. — А я буду готовить. Я быстренько...

Андрей машинально раскрыл тетрадь, думая совсем о другом, о том, что сейчас, именно сейчас он обнимет ее. Только сейчас или никогда...

«Начато 1 января 1941 года. Окончено...» За словом «окончено» стояло многоточие.

«Что еще там накатали старик? Вот писатель!» Андрей согнул тетрадь вдвое, вышел и сунул ее в боковой карман шинели.

— Знаешь что, — сказал он, снова протиснувшись в кухню и подходя к Насте, — я потом прочту, в роте, с чувством, с расстановкой...

— Ни в коем случае! — испуганно перебила Настя. — Только здесь... Это же Кузьмичова... его, ну, как тебе сказать...

Андрей подошел к Насте так близко, что она сразу вроде бы онемела и стояла теперь, прислонясь к стене, удивительно беззащитная, доступная.

Кровь ударила Андрею в голову.

«Смелее, смелее!» — приказал он себе и чужими, не подчиняющимися руками обнял Настю за плечи, прижался к ней и уже было потянулся к приоткрытому, такому близкому, незащищенному рту, как тут же отшатнулся, увидев перед собой ставшие вдруг некрасивыми, широко раскрытые, изумленные глаза Задыхающийся от возмущения, неузнаваемо резкий голос пронзил тишину:

— Ты что? Отпусти, слышишь? Так вот ты какой!.. Гуса-а-р-р!

Андрей отступил, попятился. Настя тотчас же перед самым носом захлопнула дверь, еще что-то крикнула, и стало так тихо, как будто за минуту вымер весь дом.

Торопливо, дрожащими руками надвинул Андрей фуражку, схватил шинель и вышел.

«Заколдованный какой-то дом!» — зло усмехаясь, подумал он и решительно зашагал к троллейбусу.

13

Лишь в казарме Андрей обнаружил в кармане шинели злосчастную тетрадь. Хотел тут же вернуться, но, вспомнив гневное, с изломанными бровями [292] Настино лицо, решил, что перешлет тетрадь бандеролью.

— А ты раненько сегодня! — обрадовался скучающий Патешонков,

— Отстань! — в сердцах отрезал Андрей и пошел в «курилку».

Прижигая одну от другой, он выкурил подряд две «Примы». Тетрадь мешала в кармане, и он вынул ее. Она была такой старой, потертой, как будто ее все время носили с собой. Листы по краям разлохматились, наверное, выскакивали, и в одном месте кто-то прихватил их черной ниткой. «Ну и что же тут интересного?» — подумал Андрей, небрежно открывая первую страницу.

Сверху крупно лиловыми, удивительно четко сохранившимися чернилами было выведено: «1 января 1941 года» — и подчеркнуто волнистой линией.

«...Все новое, даже снег... Интересно, каким будет этот год? Январь, февраль, март, апрель, май, июнь — шесть месяцев! А там — прощай школа и да здравствует новая жизнь! Нет, он будет прекрасным — год, который так счастливо начался.

Пять минут первого мы с Юркой выбежали на улицу и решили позвонить Ей. Мы решили спросить, кто же все-таки: он или я? Юрка, мой друг, чудесный парень. И ему Она нравится тоже. Но как поделить дружбу и любовь? Юрка сказал: «Давай позвоним!» Как у него все просто — кого выберет! А если не меня? Мы спустились вниз, и в последнюю минуту я струсил, сказал, что звонить не буду. Тогда трубку снял Юрка и попросил к телефону Ее. «Я и Николай — мы любим тебя! — прямо сказал он. — Но ты не можешь любить двоих — выбирай: он или я». Голос в мембране засмеялся, а Юрка сник. «Ты», — сказал он и бросил трубку. «Почему я?» — «Я уверен, — сказал он, — иначе она назвала бы меня». Как я теперь пойду в школу? Как посмотрю ей в глаза?»

«Изобретательные парни», — одобрил Андрей.

Следующая запись от 10 января не остановила его внимания: какие-то заумные, философские рассуждения о смысле жизни, о прочитанной книге. А что же с Ней? Ага, вот!

«18 января. Учился с Ней танцевать фокстрот. В школе открыли кружок танцев. Она пришла как на бал — в голубом платье с белой хризантемой у ворота. [293] У меня левая рука онемела, а правой до талии боялся дотронуться...»

— Ну, это уж он перегибает, — усмехнулся Андрей. — Тоже мне, скромник...

«А тут, как на грех, кончились патефонные иголки. Все затупились, а я все точил и точил их о батарею и подряд заводил одну и ту же пластинку. «Да хватит вам «Рио-Риту» крутить!» — возмутились остальные. И она до сих пор в ушах: «Та-ра, ра-ра, ра-ра!» И кастаньеты».

«1 февраля. В третий раз смотрели с Ней «Веселых ребят». «Как много девушек хороших, как много ласковых имен...» Луч киноаппарата чиркнул ей по макушке, а мне показалось — золотом вспыхнули волосы. — «Ты что, с артисткой сравниваешь?» — спросила Она. Чудачка, ты в тысячу раз лучше!»

Дальше строчки были смазаны, размыты, вся страница в лиловых разводах — ничего не разобрать. Две страницы склеились, Андрей осторожно отогнул одну.

«...Сегодня Пал Иваныч сказал: «Ну-ка выкладывайте свои планы и мечты». Все опустили глаза, как будто он собирался вызывать к доске.

Первым Пал Иваныч спросил Юрку. Тот встал, хлопнул крышкой парты: «Я — в летное. Летчиком буду!» И все на него посмотрели с восхищением, словно Юрка уже слетал через Северный полюс. Но самое ужасное — Она до конца урока не сводила с него глаз.

— Ну а ты, Сорокин? — спросил меня Пал Иваныч. Зачем он спросил, он же знает! И тут кто-то с «Камчатки» насмешливо хихикнул: «Лесником!» И Она почему-то покраснела».

«20 февраля. Опять Юрка. Его теперь все зовут Юрка-Чкалов. На вечере мы стояли с Ней, и тут заиграли «Рио-Риту». Я только хотел ее пригласить, вдруг подходит Юрка, кивнул, и Она подала ему руку — на какую-то секунду я опоздал. Говорят, Юрка уже прошел медицинскую комиссию и оказался годным к летной службе».

«10 марта. Всем классом ездили за город на лыжах. Сошли с поезда — и куда глаза глядят. Снег хрупкий, рассыпчатый. Последний лыжный снег. Шля, шли, а конца тропы все нет. Заблудились. И тут я узнал то место, где весной еще, кажется, в шестом классе, помогали высаживать сеянцы сосны. Они тогда [294]были сантиметров по восемь, не больше, — пушистые зеленые цыплята. А теперь, на третий год, не узнать: из почек верхнего побега вырос еще побег, который стал стволом, и еще мутовка веток. Верхушечный побег за весну отрастает на 20 — 30 сантиметров! Здравствуйте, малышки, как вы подросли! Я сказал ребятам, что рядом Красная Поляна. Все так и ахнули: «Ну и лесник!» А Она и говорит: «Давайте декламировать про лес, кто что знает!» Все знали только одно: «Плакала Саша, как лес вырубали...» А я прочел свое любимое из Тургенева: «Внутренность рощи, влажной от дождя...»

Я прочитал наизусть весь отрывок, до «и украдкой лукаво начинал сеяться и шептать по лесу мельчайший дождь...», и все как будто языки проглотили. Так молча мы и вышли на дорогу».

Андрей закурил, отлистал несколько было пропущенных страничек обратно.

«...Я пойду в лесотехнический! Все удивляются, все грезят небесами и морями, а я, по их мнению, хочу сидеть под березами и слушать птичек. Спрашивают, удивляются, откуда, мол, это у меня. А я и сам не знаю. Только стоит перед глазами, вернее, лежит спиленная береза. И кто-то говорит отцу: «Вот, Кузьмич, спилили, а взять не взяли, даже на дрова не понравилась. Ну не изверги?» А отец мне: «Смотри, Коля, ветки, как руки, раскинуты по земле. И завянуть еще не успели, видишь, пьют росу и не знают, что уже умерли, что отрублены от корня». Мы стоим, а по вершине березы, по самым мелким и нежным веткам, которые еще вчера доставали до неба и купались в синеве, недоступные грубым рукам, по этой вершине проезжают грязные колеса автомобиля. А отец опять вздыхает: «Если каждый человек убьет по дереву, по одному только дереву...»

«14 апреля. Это непостижимо! Еще вчера мы ходили в кино и потом долго гуляли по набережной. А сегодня... Я никогда не видел Ее такой спокойной и никогда не слышал такого ледяного голоса: «Повтори то, что ты три дня назад сказал Юрию». О чем? Я сначала не понял. «Повтори, что ты сказал Юрию насчет тетки!» Ах да! Я же сказал ему просто так, чтобы он отлип, что мы ночевали с Ней у Ее тетки. От дурного предчувствия у меня подкосились ноги, я завиял: «А что? Ничего такого...» — «Это же подлость, — сказала [295] Она. — Даже если ты только подумал об этом!» И ушла. Я бросился за ней и начал объясняться, что это я просто так, чтобы больше не приставал

Юрий, только из-за этого. Но Она как заледенела. «Все, — сказала Она. — Больше не звони и не приходи!»

«Настя, — с удивлением подумал Андрей. — Вылитая Настя. Она ведь тоже...»

«1 мая. Я позвонил Ей. «Скажи, что я должен сделать! Не веришь? Неужели ты думаешь, что я такой?» Она бросила трубку».

Опять в тетради было что-то перечеркнуто, замазано чернилами. Потом наискось одно и то же слово: «Экзамены. Экзамены». И без числа:

«...Грибов много, ранние — все говорят, к войне. Мы набрали летних опять, отец их называет «говорушками». Где-то возле Красной Поляны разложили скатерть-самобранку, перекусывали, сидели под березой. Вдруг над нами — странный звук, точно кто провел смычком по струнам. Что за чудеса — ни зверь, ни птица... Встали, присмотрелись. А это береза и дуб — словно из одного корня выросли. Береза помоложе, протиснулась меж дубовых ветвей, а когда в толщину раздаваться стала, прислонилась, прижалась к могучему стволу, и дуб вроде бы ее обнял. Ветер дунет, качнет ветвями, и возникает этот звук. Нежный, будто скрипка поет... Мы с отцом так и назвали эту пару — «поющие деревья» и решили: будем их проведывать, пока по грибы ездим».

«22 июня. Война! Все рухнуло, все-все. В один час. Мы, не сговариваясь, пришли в школу по привычке. Учителя все должны знать. Ее почему-то не было. Кто-то спросил: «Пал Иваныч, а если до сентября война не окончится, как же в институт? Как вы думаете, прогонят их до сентября?»

«Надо прогнать», — сказал Пал Иваныч. А мы и не знали, что у него в кармане уже лежала повестка на фронт».

«28 июня. Отца не взяли. Дали бронь. Сказали: «Вы нужны тылу». А мы с Юркой уже пятый день с утра до вечера околачиваемся в военкомате. Какими ничтожными кажутся вчерашние ссоры и обиды! А нас все не берут. И чего медлят? Чем раньше уйдем на фронт, тем раньше вернемся. И до начала учебного года, как в песне, разгромим, уничтожим врага!

Звонил Ей, никто не подходит к телефону». [296]

«2 июля. Ну, вот и прощай, мой дневник. Жалко маму — глаза не просыхают. Отец на полчаса заскочил — обнял: «Береги себя, на рожон не лезь, и нам, и фронту ты живой нужен!» — и опять уехал на завод.

А у меня камень на душе — если б провожала Она! Хоть бы до поворота, до трамвайной остановки! Странно, там все еще стоит мороженщица в белой-белой, мирной, как тысячу лет назад, куртке.

Вчера я дозвонился. «Да-да, я слушаю», — сказала Она. Я сказал, что уйду на фронт и что люблю Ее еще сильнее и прошу прощения за все. «Ладно», — сказала Она, но, по-моему, не простила».

На этом записи кончались. Дальше шли чистые, тронутые желтизной листы. Андрей перевернул несколько страничек, и на пол выпал конверт — необычный, треугольный.

Треугольник оказался старым письмом, написанным химическим карандашом. Некоторые строки можно было различить лишь по царапинам, оставленным на бумаге. Письмо, видно, много раз читали — складывали и

развертывали, — на сгибах бумага уже кое-где осыпалась. Почерк был все тот же.

«Дорогие мои! Извините, что долго не писал. Не было времени, жарко тут у нас, прут, гады. Отец! Сегодня мы уже в тех местах, где наши «поющие деревья». Представляешь?

Ходят слухи, что немцы установили большие пушки, чтоб стрелять по Москве. Будто бы ее хотят разрушить и затопить. Но вы слухам не верьте! Стрелять по Москве прямой наводкой мы не дадим. Писать кончаю. Шофер торопит. Целую вас, мои дорогие, за меня не беспокойтесь. Ваш сын Николай. 4 декабря 1941 года».

«Поющие деревья»... «Поющие деревья», — задумался Андрей, отлистывая страницы. — Ну да, это же возле Красной Поляны. Они же туда по грибы ездили! Где это Красная Поляна? Там его надо искать! Неужели не могли догадаться?»

И тут в самом конце тетради он увидел другой листок, отпечатанный на машинке. Этот листок был свежим, несмятым и незахвачанным, наверное, его очень берегли, как берегут важный документ.

«На Ваше письмо сообщаю, что, по данным отдела учета персональных потерь солдат и сержантов Советской [297] Армии за период Отечественной войны 1941 — 1945 гг., значитя:

Красноармеец Сорокин Николай Иванович, 1922 года рождения, уроженец г. Москвы, призванный в июле 1941 года, пропал без вести в декабре 1941 года...

Основание: вх. № 59935 41 г.».

«Они не там искали, — огорчился Андрей. — Это же проще простого: узнать, какие части воевали возле Красной Поляны...» Он вложил письмо и листок в тетрадь и только тут заметил на внутренней стороне обложки довольно свежую надпись, сделанную шариковой авторучкой, другим почерком.

«Она — Сазикова Люба, Рублевский пер., д. 5, кв. 4». Кто это — Она? Та, с хризантемой? И кто записал ее адрес?

14

Острый луч светился на полу, пересекая коридор. Это из непритворенной двери командира роты. Значит, майор не ушел.

Стараясь не скрипеть кроватью, Андрей встал, натянул брюки, рубашку, нащупал ногами сапоги. В проходе все же задел табурет.

— Вы напугаете мне роту, Звягин, — сонно прогудел дневальный.

Андрей приложил палец к губам и повернул направо, к двери кабинета, приоткрыл ее.

Склонившийся над тетрадями майор повел плечами — наверное, потянуло в распахнутую форточку сквозняком, — поднял голову и непонимающе устремил на Андрея воспаленный от долгого чтения взгляд.

— Что случилось, Звягин? Посреди ночи, без стука...

— Извините, товарищ майор, я знаю... Но до утра не могу, не засну...

В глазах майора мелькнуло удивление:

— Так уж?.. Да в чем дело наконец?

— У вас про операцию «Тайфун» ничего нет? Майор откинулся на стул.

— А вам сочинений Фейербаха сейчас не требуется? Идите спать, Звягин. Завтра.

— Мне сейчас нужно, товарищ майор. Я видел, у вас есть... Мы тут уборку делали. Вон в том шкафу...

— Да вы что, в самом деле, Звягин? — с раздражением перебил майор, но что-то в лице Андрея смутило [298] его, он потянулся за сигаретой, мягче спросил: — Зачем вам?

— Мне только на полчаса, я в «курилке» прочитаю и верну, — уклоняясь от ответа, уже смелее попросил Андрей.

Майор, окончательно сбитый с толку, подошел к шкафу, порылся в книгах.

— Берите, ровно на двадцать минут. А то еще всыплет нам с вами дежурный по роте за нарушение распорядка...

Схватив книгу, Андрей пошел было к выходу, но майор остановил:

— Ладно, сидите здесь. — Опять нахмурился: — Нельзя же, в самом деле, нарушать. — И уткнулся в конспекты.

Андрей присел на краешек стула и торопливо начал листать книгу, пробегая по строчкам, отыскивая единственное слово «Тайфун». «Тайфун», «Тайфун»... Вот:

«Девятнадцатого сентября операции было присвоено условное наименование «Тайфун». Сперва генерал Бок, которому Гитлер поручил штурмовать Москву, хотел назвать ее «Октябрьский праздник»...

У Адольфа Гитлера были совершенно определенные планы, касавшиеся двух советских городов — Москвы и Ленинграда. Этим двум городам, которые являлись в глазах Гитлера воплощением всего большевистского, этим двум городам было уготовано нечто особенное. Они должны были быть казнены».

— Нашли, что искали? — теперь уже с некоторым даже участием спросил майор, краем глаза наблюдавший за Андреем.

— Нашел, — не отрываясь, ответил Андрей. Запись в дневнике генерала Гальдера, 8 июня

1941 года:

«Фюрер исполнен решимости сровнять Москву и Ленинград с землей, чтобы там не оставалось людей, которых мы должны были бы кормить зимой. Оба города должны быть уничтожены авиацией. Танков на это не тратить. Это должна быть мировая катастрофа, которая лишит центров не только большевизм, но и московитизм».

16 июля 1941 года во время совещания у Гитлера, на котором обсуждалось, как делить «русский пирог», [299] фюрер снова напомнил о том, что «Ленинград он хочет стереть с лица земли».

А Москва? Что Москва?

Совершенно секретное распоряжение № 441675/41 от 7 октября 1941 года, штаб оперативного руководства ОКБ:

«Фюрер вновь решил, что капитуляция Ленинграда, а позже Москвы не должна быть принята, даже если она будет предложена противником... Ни один немецкий солдат не должен вступать в эти города. Всякий, кто попытается оставить город и пройти через наши позиции, должен быть обстрелян и отогнан обратно. Небольшие незакрытые проходы,

предоставляющие возможность для массового ухода населения во внутреннюю Россию, можно лишь приветствовать. И для других городов должно действовать правило, что до захвата их следует громить артиллерийским обстрелом и воздушными налетами, а население обращать в бегство...

Это указание фюрера должно быть доведено до сведения всех командиров».

Андрей покосился на майора, на пачку сигарет, заманчиво лежавшую на столе.

— Разрешите закурить, товарищ майор, — неуверенно попросил он.

— Курите, — тяжело вздохнув, совсем удрученный такой назойливостью, разрешил майор.

Андрей жадно затянулся, перевернул следующую страницу:

«Итак, по плану фон Бока войска не должны были входить в город. Они лишь должны были создать плотное кольцо окружения, которое проходило бы примерно по линии Окружной железной дороги. Из Москвы решено было оставить три выхода, на которых предполагалось создать контрольно-пропускные пункты... Чины СД должны были контролировать «выход» гражданского населения из Москвы, и на этот счет уже имелось соответствующее указание. Всех женщин, стариков и детей предполагалось «переправлять в транзитные (читай — концентрационные) лагеря...».

Процедура уничтожения города была готова лишь вчерне: как полагал Гитлер, удобнее всего было Москву затопить, используя водохранилища канала Москва — Волга. С этой целью мастер диверсионных дел штурмбанфюрер СС Отто Скорцени получил [300] специальную задачу: со своим отрядом выйти к шлюзам и захватить их.

9 октября 1941 года один из эсэсовских чинов записал в своем дневнике: «Фюрер распорядился, чтобы ни один немецкий солдат не вступал в Москву. Город будет затоплен и стерт с лица земли...

»

Если учесть, что план затопления рассматривался уже осенью, и если бы все шло так, как намечалось в операции «Тайфун», то весной 1942 года остатки разрушенной и разграбленной Москвы скрылись бы под водой...»

«Так вот о чем спрашивала Настя!» И Андрей совсем отчетливо, как тогда, со смотровой площадки на Ленинских горах, увидел сверкающий розовыми закатными огнями город, похожие на огромные соты дома, малиновый наперсток колокольни Ивана Великого... И это все скрылось бы под водой?

— Товарищ майор, — вкрадчиво, опасаясь рассердить командира роты, проговорил Андрей, — а это правда, что где-то в районе Красной Поляны в декабре сорок первого года немцы установили тяжелую артиллерию для обстрела Москвы?

— Да, было... — кивнул майор, внимательно поглядев на книгу, которую раскрытой держал на коленях Андрей. — Для чего это вам: «Тайфун», Красная Поляна... Политбеседу поручили?

— Нет, что вы! — смутился Андрей. — Понимаете, мой знакомый один, вернее, сын моего знакомого, отбивал эти пушки у немцев...

— Так пусть он и расскажет, как отбивал...

— А его уже нет, он без вести пропал, — дрогнувшим голосом произнес Андрей. — Вот вы, наверное, воевали... Объясните, пожалуйста, как это — без вести?

— Я не воевал, — покраснел майор и опустил глаза, как будто был виноват, что не воевал. — Мне шесть лет было, когда началась война...

— До Красной Поляны сколько километров? — догадливо переменил тему Андрей.

— Кажется, двадцать семь, — неуверенно сказал майор. — Что-то около тридцати. — В репродукторе, приглушенном не до отказа, куранты отбили двенадцать ударов, и майор, взглянув на часы, устало потер глаза: — Спать, Звягин, спать. И мне пора, а то на метро опоздаю. За книгой зайдете завтра. В личное время... [301]

Майор встал. Прикрыв дверь, Андрей бесшумно начал пробираться между кроватями. Рота давно спала.

За окном, в его правом углу, роились золотистые звездочки. Это еще не спал, светился редкими окнами дом, который недавно справил новоселье. Это была Москва. Город Москва... Москва — река... Москва — море...

Что это? Только задремал... Боевая тревога! Андрей натренированно потянулся к брюкам, рука сама нашла ремень... И вот уже ходуном заходила казарма. «Боевая тревога! Боевая тревога!» Не открывая глаз, схватил карабин, столкнулся с кем-то у выхода, нырнул в дохнувшую холодом дверь. «Становись! Бегом марш!» Куда они побежали? Это что? Ленинградское шоссе?

По багрово-красному снегу в Москву въезжали солдаты. Фашисты? Да, они, на танках, на мотоциклах, на грузовиках!

— Товарищи! — хочется крикнуть ему. — Как же так? Почему мы не стреляем, не бросаемся с гранатами под танки?

Но слова застревали в горле, и Андрей стоял молча, вобрав голову в плечи, стараясь не встречаться со взглядами, сверлившими из-под касок толпу. На мгновение в этой страшной толпе мелькнули бледные лица Турбанова, Горикова. Андрей опять безголосо крикнул, потерял их и увидел Настю. Она была опять в синем брючном костюме, нарядная, красивая, и Андрей испугался до дрожи в коленях, что ее сейчас непременно заметят фашисты.

И едва он об этом подумал, как несколько здоровенных солдат, хохоча и повизгивая от восторга, кинулись к Насте, заломили ей за спину руки и на виду у всей толпы начали расстегивать пуговички, крохотные пуговички возле шеи. Настя! Да нет же, это не она... Но кто? В голубом платье с белой хризантемой?!

Кто-то тронул Андрея за плечо, он оглянулся и увидел Кузьмича — необыкновенно спокойного и даже торжественного.

«Стоишь? — насмешливо прищурились за огромными очками его глаза. — Тебе только красоваться в аксельбантах, а мой Николай — вот кто солдат, он им сейчас устроит...»

Андрей кинулся вниз по улице Горького — Красная площадь была мертвенно пуста. Вся Москва вдруг обезлюдела. [302] Мрачные стены улиц вздымались уродливыми скалистыми ущельями, глазницы выбитых окон смотрели мрачно и угрожающе — Андрей шел по Москве и не узнавал ни одной улицы, ни одного дома.

«Что же это я один? А где рота?» — спохватился Андрей.

Он очутился на набережной, и новая ужасная догадка приковала его к граниту. Вода вспучивалась, крутилась бурунами и, взбухая, медленно вползала по стенке набережной.

Чувствуя спиной холодный, все сметающий вал, задыхаясь, Андрей долго куда-то бежал, пока не понял, что стоит на смотровой площадке, на Ленинских горах.

От края до края, куда только доставал глаз, колыхалась, успокаиваясь, вода. Кое-где плавали бревна, доски и сорванные потоком крыши старых домов. Но они казались щепками в мутном и жутком своей необъятностью море.

Далеко-далеко в грязной дымке торчали из воды два последних, до боли знакомых силуэта — верхушка Останкинской телебашни и золотистый наперсток колокольни Ивана Великого — все, что осталось от Москвы.

Андрей прижался лбом к холодному граниту парапета, замирая от ужаса и боясь поднять глаза на мертвое море, катившее угрюмые волны над погребенной под ним Москвой...

— Рота, подъем! — услышал он голос яви и открыл глаза.

Сердце стучало, колотилось, все еще пребывая во власти сновидения.

Не различая резкой грани между сном и явью, Андрей вскочил с кровати, моментально облачился в мундир и, пока, толкаясь и разминая голоса, рота строилась к зарядке, юркнул в кабинет командира роты.

Начатая вчера книга лежала там же, где он ее оставил. Андрей пролистал знакомые страницы. «Красная Поляна», «Красная Поляна». Она...

Он вернулся к своей тумбочке, открыл дверцу и пощупал сверху, над книгами. Тетрадь неизвестного Николая Сорокина тоже была на своем месте. [303]

15

Мало кто знает, что, кроме плаца, знакомого солдатским сапогам до каждой трещинки, до каждой выбоинки на асфальте, есть в распоряжении роты почетного караула, как и всякой боевой стрелковой роты, овеванное сизоватой дымкой пороха, не знающее тишины и птичьих голосов поле, которое зовется стрельбищем.

Взвод лейтенанта Горикова сдавал зачетные стрельбы. Принимая положение для стрельбы лежа, Андрей замешкался, засомневался, правильно ли делает, задумался на секунду-другую, а лейтенант сразу определил заминку:

— Отставить, Звягин! Повторить сначала. Инструкция дана не для того, чтобы ее обдумывать, а чтобы выполнять... В бою вас бы уже ухлопали...

«А сам-то воевал?» — усмехнулся Андрей.

Прижимаясь животом к земле, вдавливая автомат в плечо, он почувствовал, как в левой руке потеплело, нагрелось цевье, от напряжения

засаднило прижатую к прикладу щеку. «Главное — локоть, локоть... Найди для него место — и попадешь», — вспомнил он дружеские наставления Матюшина. «Ты як насадка над цыплаком кудыхтаешь...» — подколот Сарычев. На что сержант серьезно, необидчиво ответил: «Взаимозаменяемость, Сарычев, взаимозаменяемость».

Андрей ждал команды «Огонь!».

Впиваясь прищуренным глазом в мушку, как бы весь обратясь в зрение, Андрей смотрел в темнеющий, вздрагивающий былинками сухой травы конец поляны, где всего на пятнадцать секунд дважды должны были появиться две грудные фигуры. Словно оживший от легкого, но чуткого прикосновения спусковой крючок ловил приказание пальца.

«Они лежали, может, на этом же месте, в такой же день... — подумал Андрей, вдруг ощутив проникающую сквозь полу шинели сырую, ледящую стылость земли, захотелось подуть на пальцы. Только сейчас он почувствовал, как по лицу, вышибая слезу, жгуче сечет снежная крупка. — Да, правильно. Когда ехали на стрельбище, Гориков говорил, что где-то здесь проходила линия фронта. На каком километре свернули с шоссе? На тридцать шестом?»

Мишени возникли неожиданно — как будто двое высунулись из траншеи по грудь, — и Андрею почудилось, [304] явно увиделись каски, хищно блеснувшие сталью над седой, клочковатой травой.

«Огонь! — послышалось сзади. — Огонь!» Притиснувшись щекой к прикладу, пытаясь соединить в одно целое, слитное дрожащую прорезь прицела и мушку, Андрей надавил было на спусковой крючок, но тут же отвел палец — мишени исчезли. Снова пустынное в морозной мертвенности поле стелилось перед ним, а там, где секунду назад темнели мишени, как бы выдавая залегших, готовящихся к новой атаке врагов, едва шевелились, трепетали былинки. Андрей с ужасом понял, что прозевал. Теперь оставалось ждать второго появления — через десять — двадцать секунд. Через восемь... шесть... пять... четыре...

Как обрадовался он этим двум силуэтам, возникшим, воскресшим на кончике мушки! Он не услышал, не ощутил выстрела — жарко полыхнул, выдохнул ствол, в ноздри резко пахнуло сернистой гарью. Переводя мушку слева направо, он нажал на крючок еще и еще и, физически ощущая тугую, прочерченную пулями тетиву траектории, услышал звонкое шлепанье отстрелянных гильз, затих, прижался к горячему прикладу щекой, обмяк, увидев, как не спрятались, а упали сраженные его, Андреевым, огнем два силуэта...

— Молодец, Звягин, — сказал Гориков. — Так стрелять. А почему первый раз прозевали?

— Экономил патроны, товарищ лейтенант, — тут же нашелся Андрей, и Гориков отозвался сдержанной усмешкой.

— За отличную стрельбу — двухчасовое увольнение в город...

— Ну и везучий же ты, Звягин, — завистливо вздохнул Патешонков.

Только очутившись за воротами КПП, Андрей спохватился: «Два часа — ни к селу ни к городу. Неужели Гориков знает, что за это время я могу сделать лишь одно-единственное?»

Троллейбус помчал его к Мосфильмовской.

Ему показалось, что он забыл дорогу. Нет, палисадник с пикообразным штакетником и когда-то ярко раскрашенные, а теперь обшарпанные, вылинявшие под дождями скворечники детсадовских домиков на игровой площадке были те же. Вот за этим пятиэтажным с измалеванным номером на стене домом должен [305] стоять ее одноэтажный, похожий на барак «особняк» как пошутила в тот раз Настя.

Андрей завернул за пятиэтажный дом и остановился пораженный — холодным светом пустоши ударило в глаза. Настиного дома не было...

Груда старых бревен с приставшими к ним грязными кусками штукатурки лежала на прикопченном, тоже сваленном в кучу кирпиче. Обрывки бумажных обоев грустными разноцветными флажками трепетали на полусгнивших досках. Над этим истоптанным, искореженным бульдозером хламом, как над брошенным, остывающим костром, еще витало тепло человеческого жилья. Андрею показалось, что из-под бревен высовывается оборванный уголок клеенки со знакомыми желтыми ромашками.

«Как же так! — спохватился он. — Снесли дом. Когда?

Я не знаю ни адреса, ни фамилий».

Только тропинка к порогу еще жила. Кто-то ходил сюда, рубчатые следы — не то галош, не то туфель — петляли вокруг развалин, примяли утренний снежок возле скребка, о который когда-то счищали с подошв грязь.

И с ощущением невозвратимости, навсегдашней потери вспомнил он уютную кухоньку с шепеляво ворчавшим на плите чайником, Настю, такую милую и трогательно доверчивую со всеми ее вопросами и хлопотами вокруг стола. И даже Кузьмич представлялся отсюда, с порога развалин, совсем не сердитым, а простодушным, наивным, чудным стариканом.

«Я обидел их ни за что, — с досадой подумал Андрей. — Я найду их обязательно. В следующий выходной».

Он нащупал в боковом кармане тетрадь, которую напрасно сюда принес, и вдруг вспомнил об адресе, мельком замеченном на обложке.

«Рублевский переулок. Сазикова Люба... Да, это Она, та самая, с хризантемой...» Он думал об этом, думал, но только сейчас, при виде развалин старого дома, схватился, как за спасительную ариаднину нить, за догадку: ведь та, Она, о которой солдат писал в дневнике, могла быть жива, могла знать то, чего не знали ни Кузьмич, ни Настя. Может быть, с фронта от того парня она получила самое последнее письмо, с самым последним адресом?! [306] «Но они же рассорились перед самым уходом Николая на фронт. Она живет, даже не подозревая, что произошло, и не знает, что его давно нет в живых... — сам себе возразил Андрей. — В самом деле, она не могла читать дневника».

Словно притянутый невидимым магнитом, он шел обратно, наискосок, через детскую площадку — где-то рядом, совсем рядом он видел, проходя мимо, и взглядом зафиксировал, отпечатал в памяти: «Рублевский переулок».

Поразительно... То, что казалось далеким и недосыгаемым, как на другой планете, мир, в котором жил незнакомый парень, его любовь, тот новый, сорок первый год, Она в голубом платье с белой хризантемой у ворота, — все это вдруг очутилось рядом, через квартал, во дворе мрачного кирпичного дома с одичавшими, продрогшими тополями, с хлопающим на веревках

бельем, которое устало развешивала пожилая, сухощавая женщина в коротких стоптанных сапожках, надетых на босу ногу.

Во дворе сквозил ветер, сухая, жесткая поземка завивалась на асфальте, сугробами приметаясь к тротуару.

Андрей подошел к ближнему подъезду и спросил мальчишку, который гонял самодельной клюшкой синий кружок от детской пирамиды, не знает ли тот, где живут Сазиковы.

— А вот тетя Люба, белье вешает! — показал клюшкой мальчишка, ни на минуту не прерывая своего занятия.

«Неужели это она?» — поразился Андрей.

Женщина была в каких-то десяти — пятнадцати шагах и, увлеченная своим занятием, наверное, их не услышала. «Я подожду, — решил он, стараясь успокоиться. — Сейчас она закончит — и подойду». И к недоумению мальчишки, вместо того чтобы направиться к тете Любе, сел на лавочку.

Женщина наклонилась над тазом, что-то взяла, выпрямилась, набросила на веревку черное платье в горошек, бережно расправила беленький воротничок, разгладила его и отвела рукой со лба выпавшую из-под платка прядь, белую, со следами краски на кончиках волос.

«Седая. Сколько же ей лет? И это Она? Не может быть! — удивлялся Андрей. — В голубом платье, с белой хризантемой...» [307] Ее лицо было видно ему только с одной стороны, и смутный, едва различимый профиль, мелькнувший на фоне кофточки в мелкую клетку, показался красивым, утонченным, но только на мгновение — женщина повернулась, и Андрей заметил, как дрябло колыхнулась кожа под ее подбородком.

На веревке рядом с коричневыми чулками «в резиночку» болтались белые, ручной вязки шерстяные носки, хлопали на ветру полы байкового халатика, ближе к стойке облачком клубился белый платочек.

«Вещи-то, видно, все ее. Неужели никого нет? Одна? Совсем одна?» — с горечью, с прихлынувшей жалостью к этой женщине подумал Андрей. И ему вдруг показалось неуместным, нетактичным подходить и спрашивать — о чем угодно. И тут же другая догадка поразила его, он подумал о том, о чем никогда не думал.

«А ведь и Николай был бы сейчас таким же старым! Не может быть! И почему это никогда не приходило в голову?»

Наверное почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд, женщина обернулась, и Андрей поспешно поднялся с лавочки. Опустив голову, чувствуя за собой какую-то неосознанную вину, боясь, что его окликнут, позовут, он зашагал к арке, ведущей к выходу.

Только на улице Андрей отдышался, достал сигареты. Зачем его так тянуло в этот двор? Ему здесь нечего было делать. И снова вернулось ощущение утери чего-то дорогого, что оставалось теперь лишь на пожелтевших, тоже старых страницах дневника.

«То, что было, прошло, — думал Андрей, торопясь к троллейбусу. — Зачем ей дневник какого-то мальчишки из довоенного, почти доисторического времени? И зачем Насте этот неоконченный рукописный роман? Даже Кузьмичу не все ли равно, в конце концов, где погиб и где похоронен сын? Все поросло бельем...»

...В казарме звенела, отбивая радостные ритмы, Русланова гитара.

«Пришлет адрес — отправлю», — решил Андрей, засовывая подальше в тумбочку, под стопку уставов, принесшую столько ненужных хлопот тетрадь.

16

Почему это вспомнилось тогда? Почему? Он вдруг явственно ощутил ногами горячую хрустящую гальку железнодорожной насыпи, от шпал густо [308]запахло разогретым мазутом, голубые рельсы манили в несбыточную для детства мечту. Они учились тогда, кажется, в пятом классе, в их речных краях даже школьникам было модно дарить ко дню рождения спиннинги, и трое дружков — Атос, Портос и Арамис, — зажимая их под мышками, как шпаги, шли на рыбалку.

Они проходили мимо поезда дальнего следования и уже почти миновали последний вагон, как чей-то голос заставил их обернуться — с последней подножки уже тронувшегося состава им махал солдат. В память врезалось его лицо: смешливые глаза из-под надвинутой на лоб пилотки, ослепительные зубы; их руки неловко столкнулись, а когда разъединились, в руке Андрея осталось письмо. «Опусти, мальчик! Слышишь? Сегодня же!» — успел крикнуть солдат и еще долго махал им с подножки, все уменьшаясь и уменьшаясь.

Возвращаться к почтовому ящику не хотелось, и, решив, что опустит письмо на обратном пути, Андрей сунул конверт под лопухи, кустисто заполнившие старую насыпь.

Он вспомнил о нем уже дома, посреди ночи, когда в дремотном забытьи перед зажмуренными глазами подпрыгивали на зеркальной воде поплавки, а рука все еще тянула напружиненную живой, бьющейся тяжестью лесу. Кажется, он спал, и разбудил его толчок памяти. «Письмо, — покрываясь холодной испариной, спохватился Андрей, — я же забыл опустить письмо!»

От их дома до станции было километра два с половиной, и, представив это расстояние в кромешной темноте, в зловещих перебежках бродячих собак да мало ли еще в каких полуночных страхах и неприятностях, Андрей натянул подбородка убаюкивающе теплое одеяло, но тут же вскочил и, подрагивая в ознобе, начал одеваться. Кто знает, что таилось в том письме, которое нужно было отправить именно сегодня.

До станции он почти бежал, неотрывно глядя на спасительно брезжущие вдали фонари, он боялся оглянуться, сердце замирало при малейшем шорохе, а когда наконец вскарабкался на осыпающуюся, гремящую галькой насыпь и сунул руки в мокрые от росы лопухи, заледенел и облился жаром — под лопухами было пусто. Андрей опустил на колени и, до боли их обдирая, начал елозить, шарить по ослизлой траве, прощупывая каждый листик, каждый камешек. Рука [309] инстинктивно отпрянула, ткнувшись во что-то студенисто-липкое («Лягушка!»), но, переборов страх и отвращение, он снова и снова отползал на коленях назад, кружил на месте, все еще надеясь и уже отчаявшись. Конверт нашелся метрах в десяти от того места, где он его искал, — просто плохо заметил, куда положил, — и, с бьющимся сердцем ощупывая сыроватый бумажный пакетик, Андрей испытал в ту минуту чувство, которого так остро не испытывал потом никогда. Чувство

потерянного и вновь счастливо обретенного. А может быть, это было чувство очищенной совести?

О неотправленном и чуть было не потерянном в детстве письме ему долго и настойчиво напоминала тетрадь в темном коленкоровом переплете, спрятанная в дальнем углу тумбочки под аккуратной стопкой уставов и наставлений. От Насти не было ни письма, ни открытки. Чего он ждал?

...Андрей медленно, с наслаждением водил кистью по шершавому, изборожденному морщинами стволу, когда высунувшийся из окна дневальный позвал его к командиру роты. Он не придавал значения этому вызову и, тщательно вымыв руки, смахнув с сапог капли известки, вошел в кабинет.

— Проходите, — сказал командир, не приглашая садиться. Он выдвинул ящик стола, достал конверт с мелькнувшей четким шрифтом ведомственной надписью и протянул Андрею: — Поезжайте. Вот разрешение...

Андрей оторопел. Все сместилось, сдвинулось в мгновенной догадке: «Куда? Какое разрешение? От министра? В ВДВ?» Он не сразу сообразил, вспомнил, что это то самое разрешение, о котором командир роты обещал похлопотать три месяца назад. Из Генерального штаба пришел наконец допуск на посещение архива Министерства обороны СССР.

Снова среди крошечной, сырой, озвученной лаем бродячих собак ночи Андрей бежал по пустынной, безлюдной дороге к спасительно маячившим вдалеке теплым огням железнодорожной станции.

Уже сидя в душной электричке и рассеянно поглядывая в окно, он подумал о том, что слишком опрометчиво поехал в Подольск. Эту неуверенность он почувствовал еще в разговоре с командиром роты. Андрей догадывался: получить допуск в архив помог генерал, солдатам попасть туда было непросто. [310]

— Слишком мало данных, — сказал майор. — Очень шаткая у вас привязка. Красную Поляну освобождали многие части — и стрелковые, и танковые... Найти бойца — все равно что дерево в лесу. Но разрешение есть. Поезжайте.

Чем ближе Андрей подъезжал к Подольску, тем больше сомневался. В самом деле, какие у него данные? Единственное доказательство — последнее письмо Николая. Но почему именно Красная Поляна? Потому, что «поющие деревья»?

Проходная архива, стиснутая с двух сторон высоким каменным забором, охватившим большую, как парк, территорию, напоминала контрольно-пропускной пункт воинской части.

Андрею выписали пропуск, и, переступив порог, он подумал, что, в сущности, оно так и есть: в молчаливых, похожих на казармы домах, выстроившихся вдоль асфальтированной и по-гарнизонному чистой дорожки, разместилась не одна часть, а все Вооруженные Силы, принимавшие участие в Великой Отечественной войне. Только эти дивизии и армии волшебным образом сейчас уменьшились и успокоились в тесных несгораемых сейфах.

Его встретила строгая, молчаливая женщина. Холодно посмотрела сквозь очки, проверила документы. «Теперь она командует здесь дивизиями», — подумал Андрей, и эта мысль его развеселила.

— Все ищут, — вздохнула женщина, — все надеются...

Наверное, он был не первый по такому делу, — не задавая лишних вопросов, женщина помогла заполнить какие-то карточки, подписала какие-то бумажки и все с той же сухой вежливостью направила в другую комнату для получения документов.

«Как все просто!» — удивился Андрей.

Небольшая комната с зарешеченным окном напоминала камеру хранения — все стены были в стеллажах, на которых ровными рядами стояли удивительно одинаковые черные чемоданчики.

«И тут шеренги...» — подумал Андрей.

За перегородкой от телефона к телефону металась полная, но быстрая и ловкая женщина в темном халате, и Андрей отметил в ее ответах ту же сдержанность и официальность военного человека, — в самом деле, не штаб этот архив! Трое посетителей — генерал [311] в поношенном, старого покроя мундире, парень в клетчатом пиджаке и быстроглазая, в пионерском галстуке девушка — терпеливо ожидали очереди.

— Что у вас? Это вы от Валентины Александровны? — бросив трубку, спросила Андрея полная женщина.

Андрей протянул бумажку и по смягчившемуся взгляду, которым женщина по ней пробежала, понял, что строгая Валентина Александровна сделала там какие-то особые пометки, способные поторопить сотрудников, — на удовлетворение своей заявки по правилам архива, висевшим у входа, он мог рассчитывать только на следующий день.

— Погодите минутку, — совсем уже по-свойски сказала женщина и сняла телефонную трубку: — Девочки! Сделайте мне триста тридцать первую дивизию... И двадцать восьмую бригаду, пожалуйста. — Помолчала, поморщилась, выслушивая, очевидно, возражения. — Знаю, знаю, что много заявок. Но в виде исключения... Уж больно симпатичный солдатик... — И, ободряюще улыбнувшись, кивнула Андрею: — Погуляйте полчаса, ваши части уже на марше.

Андрей вышел.

Здесь и курили, как в расположении части, не где придется, а в специально отведенном месте, в «курилке».

На лавочке под деревом сидел майор. «Пожалуй, постарше нашего», — определил Андрей и, спросив разрешения, присел рядом.

Офицеру, наверное, хотелось поговорить, и он спросил первым:

— По истории части приехали?

— Нет, не по истории, — сдержанно ответил Андрей. — По личному вопросу. — Он подумал, что нехорошо скрытничать перед офицером, и добавил: — Солдата ищу, неизвестного...

— Трудное дело, — сказал офицер. — По оперсводкам смотрите...
Подробнейшая картина.

В читальном зале сидело за столиками несколько человек, Андрей узнал генерала и пионервожатую.

Он сел за свободный стол, открыл чемоданчик и достал кипу толстых тетрадей, изрядно потрепанных, похожих на инвентарные книги. Все они были сшиты, пронумерованы и скреплены печатями. Прочитав чью-то

затейливую подпись, удостоверяющую число [312] страниц и помеченную сорок первым годом, Андрей с неожиданной грустью подумал о том, что обладателя этой подписи, возможно, уже нет и в живых. Он мог погибнуть через час после того, как расписался в тетради.

В первой книге были подшиты оперативные сводки, написанные на листочках, вырванных откуда попало — из школьных тетрадей, из блокнотов, и просто обрывки бумаг. Донесения набрасывались второпях — то ручкой, то карандашом. Больше всего карандашом. И правда, откуда там быть чернилам?

Перелистывая бумажки, исписанные разными почерками, захватанные, надорванные, вглядываясь в цифры, обозначающие части и наименования населенных пунктов, Андрей окончательно осознал правоту майора — найти фамилию солдата было бы чудом.

«Надо искать по названию», — решил он, и глаза его, как бы запрограммировав, ловили теперь в пестроте строк только два слова: «Красная Поляна».

На девятнадцатом листе они словно споткнулись:

«Начштадиву 331 штабриг 28 Чашниково 13.15; 5.12.41 г., карта 100000.

С 14.00 3 батальон с северной окраины Катюшки будет переведен на исходное положение для атаки на опушку леса (примыкает к Красная Поляна Юго-Запада)».

На следующем листке, вырванном из блокнота, была торопливо набросана другая сводка:

«Боевое донесение № 14 к 6.00 6.12.41 г.

3 сб в течение проведенных операций за Катюшки, имея большие потери (до 365 ч), нуждается в пополнении личным составом».

Больше всего Андрея поразило то, что печальная эта (погибло 365 человек!) оперсводка была написана спокойным, остро отточенным карандашом. А глаза продолжали искать Красную Поляну. Стоп!

«Оперсводка № 16. 12.00 6.12.41 г.

...11.35. 6.12.41 г. 3 сб под прикрытием артогня и танков ворвался в южн. окр. Красная Поляна, ведет уличный бой с противником, засевшим в зданиях Красная Поляна.

12.35. 6.12.41 г. 2 сб вышел на юг.-зап. окр. Красная Поляна, ведет уличный бой, развивает наступление с 3 сб.

13.25. 2 и 3 сб ведут бой с ОТ пр-ка, засевшим в школе и больнице, продолжается очищение отдельных [313] домов от пр-ка на юж. и юг.-зап. окр. Красная Поляна... Группа разведчиков с автоматчиками 28 стр. Б-ды ведут разведку леса зап. Красная Поляна... Сведения о потерях будут представлены в очередной сводке...»

«Разведку леса?.. Разведку леса... Уж не того ли, где «поющие деревья?»»

Андрей перелистал еще несколько страниц...

«Боевое донесение № 17 к 18.00. 6.12.41 г.

Части 28 сб., выполняя боевую задачу, в 12.10 6.12.41 г. с боем заняли Красную Поляну...»

«Части, части, группы, сб, сб, а где же солдаты? Где Сорокин?» С отчаянием листал тетрадь Андрей — картина боя менялась буквально по минутам.

— Ну как успехи? — услышал он голос над собой и увидел строгую женщину, которая выписывала документы.

Андрей пожал плечами, в бессилии глядя на кипу тетрадей.

— Вы посмотрите «Книгу безвозвратных потерь», — посоветовала женщина. — Эти списки обновляются... Все время кого-то находят...

Книга безвозвратных потерь — объемистая и тяжелая — была начата 1 декабря 1941 года. Она сплошь состояла из фамилий, и, прежде чем заняться поиском, Андрей невольно произвел простое вычисление. На каждом развороте книги — слева и справа — помещалось ровно по восемь фамилий убитых — очевидно, для удобства подсчетов. Андрей насчитал двести тридцать семь таких разворотов, помножил это число на восемь, получилось тысяча восемьсот девяносто шесть человек — убитые только за год и четыре месяца...

Перед глазами замелькали фамилии, и, растерявшись перед безмолвным строем погибших, таким огромным, что, если бы проводить вечернюю проверку, понадобились бы, наверное, не одни сутки, он решил искать по старому, уже найденному им самим способу — по названию населенного пункта. Андрей медленно повел пальцем левой руки вниз по графе «Где убит, когда», а правой — «Где похоронен».

Он начал по алфавиту — с буквы «А». Анчарук Петр Васильевич, умер от ранения, похоронен в д. Соснино. Домашнего адреса не значилось, и, выходит, некому было сообщить о гибели. Если кто-то из родственников остался в живых, они не знают, где их Петя, или Петр Васильевич. Не было «обратных», [314]домашних, адресов у помощника командира отделения Виноградова Ивана Васильевича и у подносчика патронов Волкова Ивана Евлампиевича...

Почему не было?

Все-таки ему надо было опять приучать глаза к словосочетанию «Красная Поляна», и он читал теперь только графу «Где похоронен». По восемь раз на каждой странице мелькало: «Убит, убит, убит...», «Похоронен...», «Западная окраина 200 м от деревни Бори-совка». «Братская могила. У опушки леса, юго-восточнее деревни Шеломки», «Лес. Юго-восточнее деревни Леушино».

«А ведь эти могилы могли и не сохраниться... Столько похороненных, а многие так и не найдены...» — подумал Андрей и опять наконец-то набрел взглядом на Красную Поляну.

Похороненными в Красной Поляне значились трое подряд, чьи фамилии начинались на букву «С». Скворцов Илья Иванович из Горьковской области (под графой «Когда и по какой причине выбыл» значилось: «Убит 4.12.41 г.»), Смирнов Василий Ильич из Йошкар-Олы, Смирнов Иван Федорович, призванный из Иванова, — под их фамилиями сносками было написано: «Там же», «Там же», «Там же». Сорокин Николай здесь не значился.

Где-то возле Красной Поляны, у лесной сторожки, между деревнями Антипино и Никитская, лежал стрелок Бабанов Илья Иванович; Грачев Александр Петрович — «у дороги, за рощей, одинокая могила...».

Андрей обратил внимание на то, как изменился цвет бумаги и формат, — значит, одной тетради не хватило и к ней суровыми нитками пришили другую, потолще.

Возле лесной сторожки между деревнями Антипино и Никитская было похоронено еще трое... Только вот «сторожка» или «дорожка»? В двух местах это слово читалось по-разному.

Нет, найти нужную фамилию оказалось не так-то просто, как он думал. Его блуждание по страницам «Книги безвозвратных потерь» было похоже на блуждание по лесу. Андрей понял, что окончательно запутался — фамилии, как деревья, мелькали слева, справа и впереди. И из этого молчаливого леса людей не было выхода.

Он сложил тетради — в голове шумело, как после [315] бессонной ночи дневальства. Каким тяжелым показался ему чемодан!

Краснощекая пионервожатая стрельнула в его сторону глазами, когда он вставал. Андрей, никак не отреагировав, прошел мимо.

— Приходите еще, — улыбнулась полная женщина, водворяя на полку его черный чемоданчик.

— Приду, спасибо, — машинально ответил Андрей, думая о том, что вряд ли еще сюда придет.

Переступая порог проходной, он обернулся, и ему показалось, будто в темных окнах архива мелькнули солдатские лица.

«Сколько их там, сколько же их там! — испытывая вдруг навалившуюся на грудь тяжесть, подумал он. — Роты... Дивизии... Армии... И одинокая могила где-нибудь у дороги, на опушке...»

Майор просил вернуться к двадцати ноль-ноль. На часах было двенадцать.

«Успею, — решился Андрей. — Только вот с какого вокзала Красная Поляна?»

17

Странно: места эти показались Андрею знакомыми, хотя он никогда здесь не был. Словно бы уже виденное однажды всколыхнулось на миг со дна памяти — и допотопная, рыжеватая от ржавчины колонка, возле которой с визгом и хохотом озорничали босоногие мальчишки, подставляясь под ледяную струю; и чуть скособоченные от старости бревенчатые дачные дома с еще по-молодому ясными окнами, отражавшими ветки лип и тополей; и потрескавшийся асфальт улочки, выведшей его на пыльную, давно уже, видно, заброшенную дворниками площадь. Судя по тесно столпившимся ларькам и палаткам, это был центр городка, и через незащищенный деревьями, собравший, как в линзе, раннюю жару пятачок спасительно тянулась к белой цистерне с квасом молчаливая, изнывающая от жажды, давно уже уставшая препираться очередь.

Андрей пристроился последним, снял фуражку, горячим обручем сдавившую лоб, и, расстегнув верхнюю пуговицу воротника, благо поблизости не было офицеров, ослабил галстук.

Зачем он приехал? У кого спросит то, о чем хотел спросить? Вот у этого белотелого, в майке-сетке дачника, [316] уткнувшегося в газету? Или вот у

этой, в общем-то, симпатичной девицы, что парится в желтом шерстяном брючном костюме?

Но именно потому, что Андрей осознавал нелепость подобного вопроса в очереди за квасом, именно поэтому вопреки его собственному желанию кто-то словно подтолкнул обратиться к девушке.

— Извините, — как можно учтивее произнес Андрей. — Вы, случайно, не знаете, где здесь стояли пушки, из которых немцы собирались стрелять по Москве?

— Пушки? Стреляли по Москве? Отсюда? Не знаю...

Белотелый дачник аккуратно сложил газету и неожиданно подтвердил:

— Стояли, стояли пушки... Талызин их выбил отсюда танками. Как шибанули — из немцев дух вон... Не успели по Москве стрельнуть. — И дачник обтер смятым и мокрым носовым платком шею.

— Не Талызин, — осторожно поправил Андрей, — а Ремизов. И еще дивизия генерала Короля и двадцать восьмая бригада полковника Гриценко... Это же здесь сержант Новиков сжал зубами концы провода — связь держал. А руками стрелял...

— Поди-ка, — всколыхнулся животом дачник, — все знает. Так сказать, идем по дорогам славы отцов. Не угадал?

— У меня тут родственник погиб, — неожиданно для себя сказал Андрей. Чем-то он должен был объяснить свой интерес к незнакомому городку, к пушкам, о которых здесь все уже забыли.

— Ясное дело, — без всякого сочувствия кивнул дачник. — А вы наливайте, наливайте! — заторопил он продавщицу.

И очередь опять затеснилась к цистерне, к живительной струйке, что скудела с каждой кружкой, с каждым бидоном.

— Иди-ка, сынок, напейся, — позвала продавщица. — А то не дождешься этих окрошечников.

— Правильно! — поддержал дачник. — Отпустить солдату кваса без очереди.

— Ничего, я постою, — застеснялся Андрей.

— Подходи, подходи, солдат, сами знаем — минутки-то в увольнительной золотые! — выкрикнул из толпы старичок в холщовой косоворотке и в изрядно поношенной соломенной шляпе. Поводил-поводил [317] головой:

— А пушки твои, они вон, возле сто пятого дома, стояли, за проулочком налево. Самый высокий взгорок. Да и не узнать — лес был, а теперь понастроили... Салют оттуда видно, в самый раз...

Андрей залпом опорожнил кружку и, поблагодарив, пошел по улице.

О каком сто пятом доме говорил старик? За проулочком налево теснились большие новые дома. Может, вот этот, кирпичный? Но здесь негде стоять пушкам... И от деревьев, от леса — тоже ни следа. Разве что вот эта ложбинка, поросшая мохнатой ромашкой? Старый окоп или траншея?.. Вряд ли...

На забытом людьми, поросшем быльем месте стоял Андрей, все больше и больше убеждаясь в своей наивности, в тщетности поисков.

«Но если отсюда смотрят московский салют, значит, могли немцы видеть город... Тогда, в сорок первом...»

Андрей постоял еще с минуту, подставив лицо свежему ветерку, надвинул фуражку и зашагал, теперь уже увереннее, к синееющему вдаль лесу.

В лесу было прохладно, как будто зеленый дождь окропил все — и деревья, и кусты, и поляны; пахло свежестью молодой листвы, оттаявшей землей, и казалось, вот-вот зазвенят солнечные струны, протянутые сквозь деревья к ласково-нежной, похожей на озимь траве.

Лес справлял новоселье весны. И каждая ветка тянулась к свету, к простору. В розовых клювиках почек держали сморщенные листки пригревшиеся липы. Застенчиво трепетали осины. Клен поднимал свои светло-зеленые, еще свернутые флажки. А на соснах, будто перекочевавшие с новогодних елок, вот-вот должны были загореться розоватые свечки. И оттого еще угрюмее казались ели, которые почему-то не торопились менять зимние, изрядно потрепанные вьюгами одежды. «Как давно я не был в лесу!» — подумал Андрей, вспомнив серый асфальт плаца.

Тропинка потерялась, и Андрей пошел напрямик через щекочущие пушистыми сережками кусты орешника, задевая фуражкой о сучья, с козырька прозрачно свисала, налипала на лоб паутина. Он снял фуражку, распахнул мундир — становилось душновато.

«Куда я иду и зачем?» — подумал Андрей, продолжая идти. Позади остался чистый, дрожащий осинник, [318] впереди светился березнячок. Он на минуту остановился, и деревья как бы остановились вместе с ним; он пошел, и, дрогнув, точно боясь отстать, сбоку двинулись деревья. Что-то притягивало, что-то манило его в мельтешащей этой чащобе.

Сколько Андрей прошел? С километр, не больше. Захотелось покурить. Он сел на пенек и огляделся.

Только что шевеливший каждой былинкой, каждой веткой лес приумолк, притаился, словно тоже переводил дух. Андрей закурил, но, затянувшись, тут же придавил сапогом окурок — в пахучей свежести воздуха не хотелось дымить.

Андрей встал, обогнул куст орешника и остановился, замерев, — ему показалось, будто сверху раздался тугой, как от скрипки, звук.

Но лес опять молчал, словно сам прислушивался к шагам Андрея.

Неосознанное, какое бывает в лесу, чувство страха, чувство, как будто за тобой кто-то наблюдает, охватило Андрея, заставило прибавить шагу.

И снова протяжно что-то скрипнуло наверху, по макушкам пробежал шумок.

«Да это же ветер, — догадался Андрей, успокаиваясь. — Это ветер тронул деревья...»

«Поющие», — словно подсказал ему кто-то.

«Поющие деревья!» — повторил про себя Андрей, и горячая волна догадки окатила сердце.

Он задрал голову и стал шарить взглядом по переплетенным сучьям и ветвям, ожидая нового порыва ветра.

Теперь пропело справа, он повернулся и сразу увидел их рядом — молодую березку и дуб.

Это были они, те самые «поющие деревья», — даже отсюда, шагов с десяти, виднелась как бы чуть стесанная ветвь дуба. Касаясь березового ствола, она издавала под ветром тугой, как у скрипки, звук.

Дуб казался постарше, береза едва доставала ему до середины. Зеленая и острая, как озимь, трава пробивала под ними бурый, дотлевающий покров осенней листвы. И, вглядываясь в еле заметные, неровные очертания бугорка, Андрей опять вспомнил прочитанные в архиве записи о затерянных на опушках и лесных тропках безымянных солдатских могилах.

Да, это был лесной бугорок, нанесенный весенними ручьями, даже было видно, как корни корявились из-под листьев, выступали их завитки, но еще раз взглянув на холмик, Андрей сразу подумал о Кузьмиче и о Насте. Где-то здесь навсегда остался их Николай.

«Я скажу Кузьмичу... И ей... Я скажу про деревья — точно!» — с радостью, с ощущением внезапной легкости решил Андрей, лихорадочно присматриваясь, запоминая место.

Он не знал, что этим «поющим деревьям» всего лишь по тридцать — сорок лет.

Когда Андрей вернулся в казарму, командира роты уже не было.

— Тебя включили в почетный караул, — округлив глаза, как будто что-то стряслось, чуть ли не крикнул Патешонков, стоявший у тумбочки дневального.

— В какой? — спросил Андрей.

— К могиле Неизвестного солдата.

18

...От безмолвного потока людей, медленно плывущего мимо Вечного огня, его отделяла ниша, в которой стелилось по звезде пламя, и гряда цветов, положенных вдоль мраморного уступа, — каких-то десять шагов, не больше. Но, прикованный вниманием к самому себе — ему все казалось, что слабо надраил пуговицы, что завернулись, перепутались аксельбанты, что уже не очень свежи перчатки, — Андрей замечал лишь шевеление толпы, белесую, сплошную череду лиц и цветы, цветы — по одному, букетами, в целлофановых обертках и в корзинах, какие выносят на сцену. И каждый, кто подходил к могиле, смотрел сначала на Вечный огонь, а затем на него, Андрея Звягина.

Андрей старался не шевелиться, а когда налетевший ветерок пахнул в лицо гарью, невероятным усилием переборол желание кашлянуть и не качнулся, не дрогнул, оставаясь в неподвижности. Ставшие чужими ноги наливались горячей, расплавленной тяжестью, а ворот рубашки так сдавил шею, что захотелось хоть на секунду отпустить галстук.

Интересно, сколько он уже стоит? Этого Андрей не знал, потому что не мог даже взглянуть на часы. Время для него остановилось. И он жил сейчас как бы весь растворенный в ожидании, в тревожной горечи несостоявшейся встречи: шествие к могиле уже началось, а ни Кузьмича, ни Насти до сих пор не было.

Еще венки, за ним другой, потом третий колыхнулся атласными лентами. Весь мрамор возле могилы [320] уже был закрыт цветами, как будто они проросли прямо из камня, образовав невиданный по узорам ковер, и

букетов все прибавлялось и прибавлялось, и пожилая женщина в синем рабочем халате, наверное смотрительница, бережно сдвигала их в сторону, освобождая место другим. Если бы она этого не делала, к могиле из-за цветов невозможно уже было бы подойти.

Венкам, увесистым гирляндам, свитым из еловых веток, тоже не хватало места, и их относили, прислоняли к стене, которая теперь цвела и зеленела из конца в конец, от Арсенальной до Троицкой башни. И все новые венки вставали перед Андреем.

Очередь к могиле росла, двигалась, и уже невозможно было разглядеть, где она начинается и где кончается. Но что-то единое двигало этой молчаливой толпой. И позванивающие медалями мужчины, и принарядившиеся женщины, и благочинные старушки, и неторопливые старики, и даже притихшие ребяташки будто видели кого-то, стоявшего рядом с Андреем, шли к этому, ими видимому, на поклон.

— Красавцы... Спасибо... Вот молодцы... — услышал Андрей сбоку и покраснел, поняв, что слова эти были обращены в их, часовых, адрес.

Нет, он не чувствовал времени. Потому и не сразу догадался, кто пустил невидимые часы, когда слева, со стороны Боровицких ворот, до него донесся как бы стук метронома.

Шаг в шаг, шаг в шаг...

Из-за поворота показались трое с карабинами «на плечо».

— Смена идет! — восхищенно вырвалось из толпы.

И все подались вперед, к этим троим, как бы желая лично, воочию убедиться, что смена идет, и идет достойно, как подобает.

Метроном стучал уже совсем рядом, и его удары совпадали с ударами сердца.

Шаг в шаг, шаг в шаг...

Впечатываясь сапогами в гранит, солдаты единым, маятниковым взмахом скидывали руки в белых перчатках.

Шаг в шаг, шаг в шаг...

Карабины почти не касались плеч, а как бы опирались о воздух, и в той бережности, с какой часовые их несли, чувствовалось священнодействие особого ритуала. [321]

Шаг в шаг... Стоп! Бряцнули у ног приклады, трое одним движением повернулись направо, замерли, и с новым командным ударом приклада о мрамор двое начали всходить по ступеням.

Андрей резко повернул голову влево и увидел широко раскрытые глаза Патешонкова, словно этим горячечным своим взглядом сменщик секундно что-то у него выпытывал.

Обратный путь в караульное помещение он не помнил...

Наряд, назначенный к могиле Неизвестного солдата, размещался в сводчатой, похожей на келью комнате. Может, вот в это, когда-то слюдяное, оконце поглядывал на Русь сам летописец Пимен. Но лейтенант Гориков, не пропустивший, наверное, ни одной книги по истории Кремля, утверждал категорически, что помещение, занимаемое почетным караулом, некогда принадлежало стрельцам. Тем самым, усато-бородатым, с бердышами и

копьями, а потом с пищалями. Стрельцов все помнил по картине «Утро стрелецкой казни».

Лейтенант Гориков, постучав слегка шашкой по массивной, обитой железом двери, заводил рассказ о вступлении в Москву французов и о взятии ими приступом вот этих самых Троицких ворот.

С лица майора сходили остатки напускной строгости, как только он прислушивался к тому, о чем с видом завязтого экскурсовода говорил Гориков.

— А что, двери те же самые? — недоверчиво, но уже заинтересованно спросил кто-то.

— Те же! — без тени сомнения отвечал Гориков. — Историю надо знать, товарищ Плиткин, историю... А вы все детективчиками пробавляетесь и фантастикой. Знаю, не отпирайтесь! Станислав Леи из вашей тумбочки не вылезает. А книг Льва Николаевича Толстого там и не бывало... А между тем, товарищ Плиткин, вам надлежало бы знать, что после того, как затихли здесь выстрелы, странный звук послышался над головами французов. Огромная стая галок поднялась над стенами и, каркая и шумя тысячами крыл, закрутилась в воздухе. — Лейтенант замолчал и, пригнувшись к узкому оконцу, показал на видневшуюся вдали Арсенальскую башню: — Во-он видите птицу? Черный комок на карнизе? Та самая галка... Из тех... [322]

Плиткин встрепнулся:

— Не может быть!.. Галка сколько живет?

— Сто — сто пятьдесят лет! — не моргнув глазом, ответил Гориков.

Тут не выдержал, рассмеялся майор, хлопнул ладонью по столу:

— Хватит, Гориков! Вы бы лучше напомнили о несении службы у Вечного огня. Есть же совсем новички...

И сразу будто подменили Горикова, снова не весельчак-балагур, а серьезный командир, товарищ лейтенант.

— Есть, товарищ майор. Это я для разрядки...

«Для разрядки»... — повторил майор насмешливо.

Но Гориков, казалось, уже его не слышал. Встал, выпрямился, натянул перчатки, тщательно их разглаживая, как хирург. Придирчиво оглядел очередную смену. Разводящий Матюшин стоял уже наготове и с лета перехватил взгляд лейтенанта.

— Третья смена, приготовиться...

Что-то еще хотел сказать Гориков, но было видно — сдержал в себе несказанное. Потоптавшись на месте, как бы разминаясь, он долго смотрел на выщербленный, быть может, стрелецкими пищалями и секирами каменный пол, вздохнул и обернулся к майору:

— Разрешите начать развод караула?

— Разрешаю, — сухо ответил майор.

Он думал сейчас о том, какая же непростая служба досталась ему и его солдатам.

Однокашники по училищу уже давно командовали батальонами — при встречах от них веяло порохом учебных баталий, сталью бронетранспортеров, а главное — неукротимой бодростью и весельем, пусть даже чуть напускным, которые характерны для командиров «полевой службы». В чем-то он прав

был, теперь уже повзрослевший училищный остряк в подполковничьих погонах, лицом к лицу столкнувшийся в коридоре академии с однокашником. «Хорошо там, где нас нет! — сказал он. — А в чистом поле звезды ближе к плечам».

Валентину Ивановичу Турбанову обижаться на судьбу не приходилось — звание у него шло год в год, но не мог же он, в самом деле, всю жизнь оставаться командиром роты, пусть даже роты почетного караула. [323] В чем-то завидовал он обветренным своим однокашникам. А те в открытую завидовали ему, считая, что парню просто повезло: во-первых, служит в самой столице, во-вторых, командует такой, можно сказать, образцово-показательной ротой и, в-третьих, всегда на виду у самого что ни на есть высокого начальства.

Но мало кто из них представлял, что вот это последнее обстоятельство — в ином, чем принято думать, смысле — и было самым трудным, неимоверно тяжким и ответственным бременем, что ложилось на плечи командира роты и командиров взводов. Ну куда б ни шло, если б только на виду у самого что ни на есть высокого начальства. На виду у всей планеты, от имени и по поручению всех Советских Вооруженных Сил, вскинув в приветствии карабины, стоит на асфальтовой глади летного поля рота почетного караула. Когда из небесных лайнеров спускаются по трапу высокие гости из-за рубежа, первые лица, которые они видят на советской земле, — симпатичные, открытые лица стройных, подтянутых парней, исполняющих священный ритуал гостеприимства.

Нынешним пополнением Валентин Иванович был, пожалуй, доволен. Давно ли он собирал у себя в кабинете, как сострил один из лейтенантов, «ассамблею» — распределяли пополнение по взводам?

Взводные — лейтенанты, отчаянно дымя, перетаскивали из списка в список фамилии, еще ни о чем не говорящие. Однако каждый старался записать себе, хотя бы только по анкетным данным, паренька получше. И только лейтенант Гориков помалкивал, высматривая из-под руки, как из засады, голубыми пронзительными глазами что-то свое. Он смотрел на эти, немые пока для других, списки как бы свысока — из всех офицеров, сидящих в кабинете командира роты, он знал солдат пополнения лучше всех, ибо прошел вместе с ними месячный «испытательный срок». Единственно, за кого он попросил, чтобы попал именно в его взвод, — за рядового Звягина, того самого, что на плацу притворился, будто не умеет ходить строевым. Характер у этого Звягина — не сахар. Но именно таких, с задоринкой, лейтенант Гориков уважал, потому как сам был не из тихонь, а годы службы — он ходил в шинели, как часто любил повторять, со скамьи суворовского училища, — годы службы приучили его ценить в первую очередь людей неординарных. [324] Позволяя лейтенантам повольничать, как старший относясь к шалостям младших, майор внутренне посмеивался тогда над препираниями взводных.

«А они и впрямь мальчишки. Какие же все-таки мальчишки, — думал он. — В самом деле, всего каких-то четыре года назад были школьниками. Кем успели покомандовать? Пионерским звеном, ну, в крайнем случае, дружиной.

А может, и того не было. И вот теперь в их подчинении солдаты, такие же молодые парни, как и они... Ах, лейтенанты вы, лейтенанты...»

Майор Турбанов часто в последнее время ловил себя на подобных сентиментальных рассуждениях — он и сам недалеко ушел от этих лейтенантов — ну на десять, может быть, лет или чуть больше. «Старею, потому и миндальничаю, потому и пускаю лирическую слезу! — сердился он на себя. — Сам-то? Может быть, товарищ майор, вы вставали над бруствером окопа и, выхватив из тугой кобуры ТТ, кричали «В атаку!» своему обессиленному, пригнувшемуся под свинцовым ветром взводу? Нет, не было такого. Может быть, вы, дорогой товарищ Турбанов, расписывались, стараясь забраться повыше, на опаленной порохом колонне рейхстага куском щебенки? Нет, не вы...

То-то... Вы даже в глаза не видели боя и стали командиром в безмятежно мирное время. Нет, сначала вы были удостоены просто офицерского звания — тоже лейтенант, и только потом, спустя годы, стали командиром, как, собственно, и предсказывал когда-то начальник училища, вручивший погоны и диплом. Помните, он сказал тогда всем вам, новоиспеченным лейтенантам в новеньком офицерском обмундировании, с обжигающими плечи погонами: «Погоны на плечах, а командирство в сердце. Вот когда застучит сердце по-командирски, считайте, что вы — лейтенанты. И тогда командировать вам всю жизнь. И запомните, дорогие мои мальчишки (генерал имел право назвать их так), запомните: нет человека более подчиненного, чем командир. Да-да, подчиненного! — повторил он. — Подчиненного букве устава, собственной воле и железной необходимости каждый день, каждый час ждать боя и быть готовым к нему. В атаке все проще...»

Славный был генерал. И правда, Турбанов до сих пор не переставал удивляться доверительно-уважительному отношению солдат к человеку в офицерских [325] погонах. Не только от устава это шло, нет... Погоны с двумя звездочками были как бы талисманом, переданным от других, общей приметой командирского звания. Солдатам, почти твоим ровесникам, и в голову не могло прийти, что, когда началась война, ты, двухлетний карапуз, еще не умел самостоятельно снять в критические моменты штанишек. Для них ты сейчас был командиром, и все. Помнишь, солдат, оформлявший стенгазету, спросил: «Товарищ лейтенант, а на фашистских самолетах что было — свастика или кресты? И какого цвета?»

Что-то такое ты ему ответил — не очень убедительное, а сам спохватился, что ничего не знаешь о войне, что смутно и туманно, если напрячь память, можно вызвать весенний, но почему-то очень холодный, ветреный день — в рубашонке было зябко, и мать тащит тебя за руку, чуть ли не бегом бежит к проходной завода, возле которой толпятся люди, веселые и счастливые, как на Первое мая. И какой-то мужчина, совсем незнакомый, поднял тебя над головой, больно стиснул и крикнул: «Победа! Да понимаешь ли ты, чертенок, что такое победа? Жить будешь, дурачок! И мамка твоя будет жить, и папка, и все мы!» Самое памятное ощущение того дня сплетается с обещанием матери, что теперь-то обязательно придет, вернется отец. И непременно с гостинцами.

Нет, тогда ты не мог понять, что такое победа. Это потом, спустя долгие годы, все узнанное и понятое ты как бы отправлял в тот далекий майский день к тому себе — шестилетнему мальчишке. И потому начинал верить, что прекрасно помнишь необыкновенную, всечеловеческую радость того дня, ибо видел, ну конечно же видел, как за четыре года перед этим натужно, смертельным гудом гудели во все небо черные птицы с желтыми крестами на крыльях. И то, что твоей биографии чуть-чуть — всего лишь четырех начальных лет жизни — коснулась война, давало тебе хоть какое-то моральное право говорить и судить о ней от имени тех, для кого эти годы биографии оказались последними.

«А эти мои лейтенанты, — с некоторым даже гордым возрастным превосходством подумал сейчас майор Турбанов, — они от войны еще дальше. А погоны все те же...»

Однажды, как всегда, уже довольно поздним часом, [326] отдав лейтенанту Горикову необходимые распоряжения — тот еще оставался в роте, — майор ушел домой. Но у КПП вдруг спохватился, что забыл конспект, и вернулся в казарму. Турбанова несколько удивил растерянный вид дневального. И уж слишком неестественно, слишком громко — на всю казарму, с очевидным желанием, чтобы его услышали в дальнем углу, — солдат кашлянул. Кашель его был, конечно, сигналом тем, кто столпился в узком проходе между койками. Майор это понял сразу, жестом остановил дневального, неслышным шагом подошел к толпе и встал позади никем не замеченный. Посреди круга стоял лейтенант Гориков без мундира, в одной рубашке. Напротив Горикова, выше его на целую голову и вдвое шире в плечах, стоял рядовой Аврусин.

— Ну, давай начинай! Наступай, наступай! — голосом мальчишки-забияки словно бы упрашивал солдата лейтенант.

Аврусин смущенно топтался на месте с той, однако, нерешительностью, с какой заранее уверенный в своей победе сильный не хочет обидеть слабого. Чего уж тут начинать — и так исход ясен.

Зрители не шевелились — ситуация была необычной. С одной стороны, не каждый офицер позволит себе вот так, запросто побороться с солдатом, а с другой — как поступит Аврусин: будет валять лейтенанта или сыграет в поддавки.

— Аврусин! Наступайте! — уже командирским голосом, как на плацу, приказал лейтенант и сам сделал шаг вперед, напряженив, изготовив для встречи тонкие руки.

Эти властные нотки в голосе командира подействовали на солдата, он подался как бы в сторону и, без усилий отведя плечом сопротивляющиеся локти, перехватил лейтенанта за поясницу, заломил его руки, прижал, придавил к груди и приподнял над полом.

Шумок пробежал по толпе и стих — участь лейтенанта была решена.

Однако каким-то невероятным усилием Гориков все же дотянулся ногами до пола и, обретя опору, сумел выскользнуть из железных объятий, пригнулся и, ухватив солдата за руку, потянул его через себя, упав на колени.

Ему бы еще одно, ну два мгновения этого превосходства, еще полмускула силы в руках и ногах — и [327] Аврусин распластался бы на полу. Но этого-то и

не хватило лейтенанту. Более того, секундное превосходство Горикова рассердило Аврусина, который, сбросив с себя оцепенение, крикнул вдруг облегченно, вновь почувствовав в себе спортсмена, и неуловимым движением, как бы поддев двумя рычагами, не повалил, а опустил лейтенанта, все же чуть придавив для убедительности лопатками к полу.

Задержавшись в поверженном положении на полу, лейтенант, словно отдыхая, с улыбкой повел вокруг взглядом и, заметив командира роты, вскочил, отряхиваясь, заправляясь:

— Извините, товарищ майор. Это мы так...

В тот вечер Турбанову опять пришлось задержаться допоздна.

— Вы же не себя, а свой авторитет подорвали сегодня, — сказал он лейтенанту сурово, осуждающе, и впрямь раздосадованный ребячеством офицера, этим сеансом борьбы.

— Вы уверены? — возразил Гориков, и в его синих глазах мелькнула знакомая усмешка. — Я не уверен. Я ведь знал, что он меня поборет, и солдаты знали. Но ему этой победой надо было побороть себя. Вы хорошо знаете Аврусина? Солдат как солдат. Но вот это его... подобострастие, эта его боязнь погон, командирского голоса!.. А он должен во мне видеть не только командира, но и человека...

Именно Гориков, а не кто другой задал майору задачу про рядового Звягина.

Письмо, написанное этим солдатом министру обороны чуть ли не в первую же неделю после прибытия пополнения в роту, сильно озадачило Турбанова. По наивности, а скорее, по незнанию Звягин вряд ли мог предполагать, что о письме конечно же узнает командир роты. Насчет ответа надо было подумать. И вот ответ...

— Как, Звягин, первая смена? — спокойно, как можно обыденнее спросил майор. — Как первый час?

— Целая вечность, товарищ майор... — тихо проговорил Андрей.

«Это хорошо, что не бодрится... Бодрячки на этот пост не нужны», — подумал Турбанов и пошел к выходу проверять караул. [328]

Андрей вытянул занемевшие ноги, которые покалывало тысячами иголок, тяжело облокотился на стол, прикрыл глаза: оранжевые круги перекатывались, перемещались, меняли очертания и превращались в венки, нескончаемо выплывавшие из бесконечной и кромешной, как пропасть, темноты.

Тюльпаны, незабудки, подснежники, ветки сирени переплетались в гирлянды, и среди этого фантастического соцветья проглядывали руки — морщинистые, узловатые, в прожилках, тонкие и изящные со стрелчатými ноготками маникюра, маленькие, пухлые, словно перетянутые в запястье ниткой, — руки, бережно кладущие и поправляющие цветы, парящие, снующие над ними.

Из множества лиц, как в наведенном до полной резкости объективе, вдруг выявилось лицо с таким выражением боли, со стиснутыми, сдавившими вскрик губами, что начинало казаться, будто человек этот видел нечто страшное, роковое, совершенно недоступное, невидимое тебе.

Сотни, тысячи крохотных вечных огней отраженно светились в сотнях, тысячах глаз.

Немыслимо далеким представлялся ему теперь день Девятого мая, когда он встретил в парке Настю с портретом солдата на ватманском листе, — таким далеким, словно до сегодняшнего Девятого мая прошло много-много лет. Но странно — то прошлогоднее и нынешнее утро как бы слились, вобрали в себя пространство времени, и Андрею начинало казаться, будто в караул у Вечного огня он поставлен с тех пор, как помнит себя солдатом. Значит, вот какую тайну хранили, не могли передать на словах Матюшин и Сарычев!..

«Может быть, она в парке, опять с портретом?» — начал рассуждать он, теряясь в догадках. Но Кузьмич-то должен прийти обязательно.

И тут Андрей подумал о том, что Настя могла появиться здесь с Кузьмичом не в первую, а во вторую смену караула. В самом деле, почему с утра, а не позже, не после обеда, не к вечеру? «Значит, я могу их вообще не увидеть?» — совсем потерялся он.

В дверях бряцнули карабины — это вернулась с поста вторая смена.

В комнату, пригнувшись, ввалился Патешонков, тяжело опустился на табурет, снял фуражку, вытер [329] платком лоб. Почему он такой бледный? В лице ни кровинки, влажные волосы перепутались на лбу.

— Послушай, Андрей, я, кажется, видел твоих, — сказал он, все еще куда-то вглядываясь, прищурив утратившие былую лукавость глаза.

— Не может быть! Когда?

— По-моему, они, — устало прикрывая веки, проговорил Патешонков. — Вышли из ворот... наперерез делегации. Старик в помятом пиджачке... Такого вокзального вида. В кепке. Ветром качает, но ничего еще, держится, молодец. Он нес подснежники... Нет, кажется, незабудки... В общем, наверно, твой. И девушка с ним...

Будто кипятком плеснуло в лицо Андрею.

— Да брось ты...

— Чего брось... В длинной такой юбке... Как королева. И огромный букет тюльпанов...

— Длинной? — переспросил Андрей.

— Да при чем тут юбка? — возмутился Патешонков. — Представляешь, ситуация? Им бы пять минут переждать, пока пройдет делегация, а они — напрямик. А им наперерез, как торпеда, милиционер: «Как вы смеете? Вы что, не видите?» И девушку берет так — за локоть... А она — ноль внимания. Спокойно отвела руку — и на ступеньки. Мы, говорит, не к вам пришли, а к нему. И показывает на Вечный огонь... И старика за собой. Пока венок не поднесли, они все стояли. Они ведь?

— Нет, не они, — совершенно уверенный в том, что это были не Настя и не Кузьмич, ответил Андрей.

— Пойдем подышим! — предложил Патешонков. Спросив у лейтенанта разрешения, они вышли на пять минут из караулки.

Весь Александровский сад обтекала говорливая человеческая река. Она начиналась у Кутафьей башни, водопадом перекатывалась вниз, по ступеням каменной лестницы, изгибаясь, текла по липовой аллее к Боровицким

воротам, затем круто поворачивала обратно и уже медленнее шевелилась под высоким и отвесным берегом — Кремлевской стеной. К Вечному огню шли, наверное, тысячи, а может, миллионы людей. То двигаясь, то замирая, новая приливная волна могла достичь устья — там, возле могилы Неизвестного солдата, — не раньше чем через три-четыре часа. [330] Три-четыре часа нужно было простоять в очереди к Вечному огню.

И все терпеливо ждали, и еще сотни людей, кому не удалось пристроиться в очередь, впились руками в железную решетку ограды.

«Где же Кузьмич? Где Настя?» — все сильнее охватываемый беспокойством, поглядывал на толпу Андрей. Заметить, узнать их в этой бесконечной человеческой реке было невозможно.

20

А Кузьмич в это время лежал в сумрачной, затененной шторами больничной палате; только-только, как он любил подшучивать сам над собой, «была отбита очередная атака противника» — разбитые ампулы валялись на столе, как отстрелянные пулеметные гильзы, противник отступал, вместе с ним отступала от сердца боль. Только надолго ли? Перебирая в памяти подробности последнего часа: суматошное мелькание белых халатов, резкий нашатырный запах лекарств, ватную слабость во всем теле, растерянность склоненное над ним жаркое лицо Насти, — Кузьмич мучительно припоминал что-то важное, о чем нельзя было забыть. Ах да, ему привиделась — к чему бы это? — девяностолетняя Кривая Авдотья, как ее по-уличному звали в деревне. Вот тебе раз, и не что-нибудь, а похороны. Да-да! Она ж всего два дня хворала, а потом попросила себя обрядить. Сыновей, дочерей, внуков понаехало — уж больно они любили старуху, видать, каждому из них успела сделать добро.

— Не плачьте, дети вы мои! — сказала им Дуня. — Лучше почаще на могилку приходите. Вот когда ходить ко мне перестанете, тогда я совсем умру. А так — вон сколько мне еще жить: дети будут приходиться, потом внуки, а за внуками, глядишь, и правнуки наведаются, свои цветочки посадят... Ходите, ходите на могилку мою...

Много родных вокруг Дуни стояло, так много, что и сейчас Кузьмич видел — между взрослыми, как опята на пнях, уже правнучата светлыми головками отовсюду выглядывали.

А у Кузьмича вон как обернулось — ни сын его, ни он сына.

Он давно покорился беде, смирился с тем, что война убила Николая — она убила многих, и чужие, [331] незнакомые люди, обладатели таких же похоронок, словно делили с ним заочно его несчастье, но чем ближе подступала старость, тем больше тревожило Кузьмича другое — он не видел могилы сына, не знал точно, как и где тот погиб, и от этой неизвестности страдал тем сильнее, чем дальше отступал по времени от даты, обозначенной на похоронке.

Теперь и не помнил Кузьмич, какие житейские дела-заботы привели его на улицу Горького. Только остановила его непролазная, во всю длину тротуара — куда ни ткнись — толпа. Похоже, так здесь бывало, когда героев встречали — то папанинцев, то чкаловцев... Космонавтов приветствовали и чествовали теперь на другом, новом пути в столицу — на Ленинском проспекте. А улица Горького осталась в стороне, как старая дорога.

Но странным показался Кузьмичу народ, терпеливо кого-то поджидавший. Ни песен, ни флагов, ни привычного веселья. Мрачный стоял народ и молчаливый, как на похоронах.

Кузьмич втиснулся в толпу, и ему стало не по себе: «Что такое?» И вправду хоронили кого-то. Женщины утирали глаза, и вся темная, сумрачная толпа мелькала платками. Мужчины стояли хмурые, насупленные.

И тут Кузьмич услышал, как со стороны Белорусского вокзала медленной волной потекла музыка.

Он протиснулся ближе к тротуару, глянул влево и застыл: по живому людскому ущелью плыл, не ехал, а именно плыл бронетранспортер с прицепленным к нему артиллерийским лафетом, затянутым в кумач и креп. На лафете стоял красный гроб, увитый оранжево-черной гвардейской лентой.

— Это кого же хоронят? — спросил Кузьмич соседа, снявшего шапку.

— Солдата, — глухо произнес мужчина.

— Генералы за ним... Это что ж за солдат? — удивился Кузьмич.

— Тише вы!.. — укоризненно покачала головой женщина в черном платке.

А бронетранспортер приближался, и теперь, казалось, не музыка, а рыдания и стоны сопровождают эту невиданную процессию.

— Фамилия-то его как? — опять обернулся Кузьмич [332] к соседу, но тот не услышал, ничего нельзя было услышать в том рыдающем марше.

— Он совсем неизвестный! — объяснил парень в плащике. — Неизвестный солдат... Его под Крюковым из могилы подняли... Везут к Кремлевской стене.

— Под Крюковым? — переспросил Кузьмич. — И совсем не знают фамилии?

Неясная догадка обожгла его.

«Под Крюковым... Под Крюковым...» — застучало в висках, и толчками крови, прихлынувшей к голове, стала возвращать память в тот страшный день известия о Николае, когда невидящими глазами Кузьмич читал-перечитывал последнее письмо, где смутно, намеками были очерчены координаты последнего местонахождения сына: «поющие деревья», береза и дуб — только они с Николаем знали, где растет их тайна. «Поющие деревья» — это же под Крюковым. Между Красной Поляной и Крюковым...

Вот тогда-то, на улице Горького, он подумал о невозможном, о том, что в красном гробу на лафете везут его Николая. А почему бы и нет! Эх, жаль, что не дожидала до этого часа мать!..

Кузьмич шагнул с тротуара на мостовую.

Смутным, как закатное солнце, багровым пятном проплыл перед ним гроб, мелькнули мальчишеские лица солдат почетного караула... Кто-то осторожно тронул за локоть, потянул в сторону.

— Нельзя, папаша, вернитесь на тротуар... Кузьмич на мгновение оробел и уже было попятился, но взял себя в руки, возразил твердо:

— Я пойду за гробом, вы не имеете права... Мой сын тоже погиб под Москвой...

Рука отпустила.

Примеривая к остальным шаг, Кузьмич успокоенно пристроился сзади колонны — сердцу было так больно, словно оно лежало между оглушительно бьющими медными тарелками оркестра.

...Опять почувствовав сбивчивые, возбужденные лекарством толчки в груди («Ишь ты, сердце водит, как рыба на берегу жабрами!»), Кузьмич повернулся на правый бок и, глядя в голубеющую между шторами щель, заставил себя представить этот день с самого начала таким, каким бы он был, не окажись Кузьмич в больнице.

Это утро наступало раз в году, и, утомленный долгим, [333] тягостным его ожиданием, довольный, что снова перехитрил костлявую с косою на плече и дотянул-таки до заветного срока, не сдался, Кузьмич, еще лежа в постели, ловил, подкарауливал в синеем окне первый проблеск солнца, а потом, сбросив одеяло и сунув озябшие ноги в стоптанные шлепанцы, смаковал каждую минуту, каждый час новой, опять подаренной благосклонной судьбою майской зари.

Вглядываясь в мутное, треснутое посредине круглое зеркальце, он подмигивал сам себе, хмуро щупал щеки и старательно брился припасенным для такого случая непременно новым лезвием, ставил на плиту чайник, бросал в стакан щепотку чаю, пару кусков сахара и из деревянного ящичка, приделанного к подоконнику со стороны улицы — он называл этот ящичек торбой, — доставал хлеб и масло. Завтрак был обычный, будничной, но, сметая с клеенки на ладонь крошки, Кузьмич думал о том, что обед устроит, пожалуй, повеселее. Из потертого, разломаченного по краям очечника он высыпал на стол мелочь и прикидывал свой «бюджет» — все, что скопил к желанному дню, урывая от пенсии. Эти сложенные один с другим рубли и скудной чешуей блестящие на клеенке гривенники никаких пиршеств не обещали, и Кузьмич уже точно, по опыту прошлых лет, знал, сколько отпустит на сегодняшний день средств из весьма скромного своего «бюджета». Если не подорожали цветы — пятьдесят копеек на букетик подснежников. Рубль с мелочью — на «чекушку». А вот это — Насте на шоколадку.

Вполне удовлетворенный немудреными своими расчетами, Кузьмич натягивал пиджак, брал щетку и выходил на лестничную площадку почиститься. Он помнил выходной бостонский костюм еще совсем новым, темно-синим. «Да и я, пожалуй, не новее, по Сеньке и шапка», — думал Кузьмич, тщетно пытаясь оттереть застарелые рыжие пятна. В химчистку нести костюм давно уже стеснялся.

Странно, Кузьмич не помнил, чтобы когда-нибудь в это утро шел дождь. На зеленых и влажных от распивавшего их сока тополях невидимо вызванивали воробьи. Он помнил точно: деревья дружно выбрасывали первые листья именно к этому дню. Значит, все повторялось. И Кузьмич начинал сомневаться, действительно ли прошел год, может быть, всего лишь ночь мелькнула между двумя схожими, как близнецы, рассветами? [334]

В такие минуты Кузьмич предавался философским рассуждениям о времени. Что же это — время, как его пощупать? Нет, это не подрагивающий бег часовой стрелки — хитрую игрушку человек придумал для собственного обмана. Часы, они и есть часы: износились или стукнул ты их — глядь, и перестали тикать. А времени что до этого? Время дальше идет. Да и что

значит идет? Оно живет. Живет вот в тополе, который, кажется, еще вчера был хилым, в одну ветку подростком, а сейчас вымахал чуть ли не до третьего этажа. Живет в самом человеке, иначе почему бы ему помнить то, что давным-давно прошло. Нет, стрелка на циферблате — как белка в колесе. А время, истинное время показывает жизнь — в росте ли дерева, в судьбе ли человека. Жизнь — вот что такое время. И если жизнь — пустота, значит, никакого в тебе времени, даже если выпало тебе увидеть на веку сто зим и сто весен...

В это утро первым делом Кузьмич отправлялся на рынок. Он неторопливо проходил между прилавками, приценивался, хотя знал, что ничего не купит. Просто любопытно было, что почем. И опять удивлялся ощущению, что видел все это будто вчера: и зеленые вороха ранней петрушки, и пыльные увесистые клубни картофеля, и надтреснутые гранаты с ядреными, как шарикоподшипники, зернами, и пряно-ароматные желтые пирамиды нездешних груш и яблок. С грустью ощупывая в кармане свой старый очечник с «бюджетом», Кузьмич круто сворачивал в сторону, к тому, за чем пришел.

Весь этот угол рынка благоухал, как сад. Соперничая в красоте, здесь отовсюду глядели цветы. Они тянулись изо всех сил, стараясь броситься в глаза, — пионы, тюльпаны, гвоздики и еще какие-то причудливые, в завитушках, названия которых Кузьмич не знал.

Кузьмич досадливо пощупывал очечник и все ходил по рядам, искал свои любимые подснежники.

В прошлый раз нежные-нежные и хрупкие, вот-вот растают, букетики он увидел в самом конце прилавка и встал за высоким парнем.

Очередь подвигалась быстро, но так же быстро исчезали из корзины голубые букетики. Кузьмич с тревогой прикинул, что ему уже не достанется.

— Я забираю остальное! — пробасил парень и сгреб оставшиеся подснежники в портфель. [335]

— Послушай, сынок, — заискивающе попросил Кузьмич, протягивая зажатую в кулаке мелочь. — Уступи букетик...

Парень обернулся, с усмешкой глянул сверху вниз:

— А тебе-то зачем цветы? Глянь на себя, ты же сам как одуванчик!

И, хлопнув Кузьмича по плечу, расхохотался.

Кузьмич еще с полчаса побродил по рынку — подснежников больше нигде не было — и вернулся к тюльпанам, хотя «бюджет» не позволял такую роскошь — до очередной пенсии ждать еще было долго. Но и явиться туда без цветов он не мог.

Держа цветы в вытянутой руке, как свечи, словно прикрывая их от ветра, Кузьмич торопился к выходу.

...До Александровского сада можно было ехать двумя путями. Но он привык к троллейбусу, который довозил до Большого театра. Даже в ранний час здесь всегда было многолюдно, и больше всего народу толпилось в скверике, буйно поросшем сиренью. Кузьмич останавливался в сторонке, доставал сигарету — здесь особенно остро чувствовалось повторение прошлогоднего утра.

«Ишь ты, где война назначила свидания!» — всякий раз не переставал удивляться Кузьмич.

Постояв на «своей остановке», покурив, как бы приготовившись к главному, Кузьмич сворачивал на проспект Маркса.

За узорной решеткой чугунной ограды, словно составленной из древних копий, зеленел, распускаясь цветами Александровский сад. Но с некоторых пор ничто его так не оживляло, как сияющий и днем и ночью над мраморным уступом огонек. Это зыбкое, дрожащее даже в безветрие пламя Кузьмич замечал, выхватывая взглядом, еще шагов за сто и шел на него, ничего уже не видя вокруг, как загипнотизированный. Он шел на огонь, который его притягивал, радужно мельтешил в глазах, озаряя самые дальние закоулки памяти.

Снова ладонь Кузьмича теплела от маленькой ручонки, как будто он держал в ладони копошащегося острыми коготками птенчика. Да, он вновь шел со своим маленьким семилетним Колькой. Куда, зачем? Кажется, на демонстрацию.

Почему чаще всего он вспоминает сына именно маленьким — в матроске и бескозырке с лентой «Герой»? [336] Почему Колька является Кузьмичу ощущением теплой ладошки, зажатой в руке, словно птенчик?

Так, словно бы вместе с сыном, Кузьмич поднимался по ступеням, не замечая, не считая их, пока взгляд не обжигался о пламя, которое металось возле ног, билось, всплескивалось над раскаленной бронзовой звездой. Кузьмич наклонялся и опускал на мрамор свой букетик.

Его цветы, такие свежесиние на рынке, казались ему увядшими, измученными. Быть может, потому что рядом уже пламенели огнисто-пурпурные тюльпаны.

А может, и правда он лежал под этой мраморной плитой, его Колька?

Когда он его увидел? Тогда или сейчас? Колька, его Колька стоял перед ним.

Он возник из пламени и как будто брезжил — в сером парадном мундире, в хромовых, до блеска начищенных сапогах. С краснопогонного плеча свисали серебряные аксельбанты, из-под козырька под смоляными бровями смородиночно чернели родные глаза. Острый Колькин подбородок был чуть приподнят над ослепительно белым воротником рубашки с галстуком, правая рука, затянутая в перчатку, придерживала карабин с лучисто сияющим штыком.

— Коля, — позвал Кузьмич, — Коля...

Но солдат, стоявший все так же неподвижно, не выказывал никакого желания отозваться, он не повел и бровью, и тут Кузьмич увидел, что это совсем не Колька, а тот парень, что год назад приходил к Насте, когда они жили в старом доме.

Зеленый дым за клубился над мраморной нишей, обволакивая огонь... Чем-то расплавленным обожгло сердце.

— Врача! Дежурного врача, скорее! — испуганным голосом позвал кто-то.

В последнюю, назначенную в почетный караул у могилы Неизвестного солдата смену Андрей заступил ровно в двадцать ноль-ноль. Солнце еще переливалось через крыши самых высоких домов, золотисто оплавливая окна,

но в низине Александровского сада от Деревьев и кустов уже ложились на асфальт густые сиреневые тени. Вечерело быстро, и с каждой минутой, казалось, все ярче разгоралось пламя над бронзовой [337] звездой, все резче обозначался круг багрового, вздрагивающего света, и в этот священный, как бы очерченный безымянной славой и безымянным подвигом круг вступали все новые и новые люди.

Андрей уже не ждал ни Кузьмича, ни Насти. Но, совсем отчаявшись их увидеть, он все же ловил беспокойным взглядом незнакомые лица, чувствуя, как незримым током что-то начинает соединять его с бесконечной, медленно текущей мимо Вечного огня людской рекой.

Теперь он отчетливо различал почти каждого, кто подходил к могиле, он словно бы очнулся от оглушительного потрясения первой смены и, неотрывно вглядываясь в живой молчаливый поток, пытался понять, пробовал угадать, кто к кому пришел.

Вот эта старушка в черном платке... Загородилась рукой от света и словно переломилась — с поклоном положила ветку сирени, перекрестилась. Кого она видит застывшим взглядом в прокаленном свечении пламени? Сына? Мужа? Кто воскрес перед ней сейчас, в эту минуту?

Но, как бы ни напрягал воображение, как бы ни возбуждал фантазию, Андрей не мог видеть то, что видела старая женщина.

А затухающая ее память вдруг вызвала сейчас мальчишку — худого, узкоплечего, стриженного. Лямка вещевого мешка так сдавила, сдвинула воротник рубашки, что ей самой сделалось больно. «До свидания, мама... Ну что ты, мам! Они же только в кино страшные». И все улыбался, и все махал в окно теплушки. И с вокзала шла успокоенно, пока не остановил плакат: наш солдат — в каске, в шинели, огромный, во весь лист, — замахивается гранатой на фашистский танк. «А как же мой-то, худенький, совсем мальчонка, против такой громадины?» Так и не видела его в военном...

— Сынок! — промолвила старушка. — Сынок...

Ее подтолкнуло, увлекло потоком...

А эта не совсем еще старая. Волосы красит. Зачем? Все равно видно, что седые... Как снег весной — сверху уже пыльный, темный, а внизу еще белый. Распахнула пальто, как будто от Вечного огня жарко... Вот это тюльпаны! Где она только выбрала такие?! Сочные, красные, целая охапка... Кому эти цветы? [338]

Андрей не мог знать, что она сейчас была далеко отсюда и виделся ей тот далекий, довоенный день. Почему они оказались за городом всем классом? В голубых сумерках сидели у костра и пели только что слетевшую с пластинки «Катюшу». И вдруг он первым заметил: «Смотрите, смотрите, воздушный шар!» Высоко в розоватом небе висел неподвижно круглый и светлый, как луна, рядом с настоящей луной, воздушный шар. И они побежали под ним, думали, что спустится. Потом шар исчез, и они очутились в сирени. В такой пахучей, что кружилась голова. И он нежно, руками, пахнущими сиренью, взял ее за плечи... А потом — это уже, кажется, предпоследний год войны... Да, предпоследний. Но тогда еще никто не знал, что предпоследний. В новеньких, золотых лейтенантских погонах он заехал из госпиталя всего на полсуток. И они пошли на новый фильм «В шесть часов вечера после войны». Там после

победы все встречались на мосту возле Кремля. «Давай и мы, — сказал он, — в шесть часов вечера после войны, на этом мосту!..»

Кто этот, коренастый, в сером обвисшем пиджаке? Сдернул кепку, наклонился как-то странно, будто под одной брючиной не гнется нога. На протезе? Положил ветку черемухи. И еще что-то... Не то значок, не то медаль. А у самого два ордена Славы. Наверно, к товарищу... Может, из одного с ним взвода...

— Эх, ребята, ребята...

Андрей не видел того, что видел старый солдат, который вспомнил сейчас своих однополчан. Один из них, чернявый — не то татарин, не то узбек, — свою пайку воды отдал, когда ранили. Старый солдат и сейчас слышал стук капли о дно котелка и ощущал во рту ржавый привкус воды — самодельный колодец выкопали. А второй — его лица уже не помнил — шапку свою подарил, когда выписывали из госпиталя. Самые морозы, а он в пилотке остался. Вот душа человек! После и того и другого — одним снарядом...

И еще старый солдат вспоминал сейчас взрытую взрывами рассветную гладь Днепра и колючую проволоку по-над водой у смертоносного берега, за который надо было зацепиться хоть руками, хоть зубами.

— Эх, ребята, ребята... [339]

Это кто же? Генерал? Без цветов. В сторонке остановился. Орденов — вся грудь как будто в кольчуге. Снял фуражку... Неужели плачет? Генерал! А он к кому? Вспоминает свои полки и дивизии?

Но генерал видел другое. Из десятков тысяч людей, которыми командовал во время войны, он вспомнил сейчас только одного солдата. Хотя, если посчитать на всем пути могилы да обелиски... Но сейчас он видел только его. Морозным декабрьским днем он встретился с ним на дороге — колонна солдат, заиндевшая до бровей, будто колонна дедов-морозов, шла вперевалку к исходному рубежу. Страшное предстояло сражение, страшное по неисчислимости техники с той и другой стороны. Мучимый сомнениями, он вылез из машины и пошел по обочине рядом с колонной. Он и сейчас слышал скрип снега под валенками. «Как вы считаете, — спросил он, пристроившись к солдату, который казался старше других, — они нас или мы их? У них столько техники!..»

«Техники много, — шевельнулись белые дедморозовские усы. — Броня у них толстая, это точно. А вот кишка тонковата...»

Почему же запомнились эти дрогнувшие в усмешке, запущенные инеем усы? И веселое жвыканье снега? Впереди было еще три года войны... Но три года спустя, держа в мутных окулярах такие близкие, словно в трех шагах, уже обреченные колонны рейхстага, он вспомнил того солдата... Вряд ли он был жив, вряд ли... После того боя...

В багровый дрожащий круг, теперь уже совсем резко очерченный возле Вечного огня, будто к костру, разведенному в ночи, вступали все новые и новые люди.

«Сколько же родственников у Неизвестного? — подумал Андрей. — Нет... Сколько же Неизвестных, если так много у них родственников?» И новая догадка осенила его: этого солдата никто не видел, никто не знал убитым,

значит, шли как бы к живому. Где же это он читал, что мертвые продолжают жить и не переходят в обитель окончательной смерти до тех пор, пока их будут помнить живые?

Значит, с каждым из этих живых незримо подступал сейчас к Вечному огню погибший. И если б нашелся чудотворный способ просветить души людей, [340] оживить, поставить рядом тех, о ком они вспоминали, вглядываясь в беспокойное трепетание пламени!..

Плечистый парень в выгоревшей на солнце фуражке с зеленым пограничным околышем — это он выцарапал штыком на стене казармы в Брестской крепости: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина. 20.VII.41 г.» — о чем-то горячо, то и дело утирая закопченное лицо, рассказывал молоденькому в висевшей на нем ключьями гимнастерке лейтенанту (его записку «Погибну, но живым врагу не сдамся!» нашли в патронной гильзе).

За ними, припадая на левую ногу, шел парень с очерненными копотью бровями и ресницами — в одной руке болтался танкистский шлем, а другую он прижимал к груди, и было заметно, как сквозь пальцы просачивалась на комбинезон кровь, — он сгорел в танке, и до сих пор над его могилой было написано безымянное слово: «Танкист». Танкист вытягивал голову, кого-то искал и, наверное, нашел, потому что, прихрамывая, побежал к офицеру с золотыми птичками в голубых петлицах, обнял его и встряхнул, удивляясь: «Сема! Так тебя же сбили над Вязьмой!» — «Нет, — сказал Сема. — Тогда я успел выпрыгнуть. Я врезал свой «ястребок» в цистерны под Курском...» На их голоса обернулся моряк. Он был в тельняшке с закатанными рукавами, ленты бескозырки траурно шевельнулись за спиной; над тем местом, где, подбитый двумя торпедами, погрузился на дно морское их корабль, каждый год Девятого мая оставшиеся в живых опускали на волны венки...

В этой бесконечной, одетой в шинели, ватники, гимнастерки, бушлаты, полушубки, маскхалаты толпе можно было увидеть и сбившихся стайкой девушек в кофточках и платьях — их подпольную группу расстреляли за сутки до прихода наших войск; к ним протискивался мальчишка в отцовском, налезшем на глаза картузе — он был связным партизанского отряда; чуть в сторонке переговаривались трое рабочих в промасленных комбинезонах — их эшелон с эвакуированным заводом попал под бомбежку, и где-то в донецкой степи сровнялся с землей безымянный их холмик.

Нет, Андрей ничего этого не видел. Но ведь кто-то стоял, да, кто-то стоял рядом с ним в трепещущем круге вечного пламени, и этого, невидимого Андрею, узнавали чьи-то глаза, жадно устремленные на Огонь. [341]

В огнисто сияющий круг впорхнули по ступенькам, вбежали малыши. Самый смелый из них карапуз хотел привязать к венку зеленый шар, но не справился, упустил его, и шар запрыгал, едва не касаясь пламени. Лопнет или не лопнет? Но Огонь шара не тронул, поиграл-поиграл им и откатил в сторону, в угол мраморной ниши. Толпа опять расступилась, повернулась в сторону: от ворот шли к Вечному огню новобрачные.

Она семенила легкая, облачная — в длинном белом платье, из-под которого резво мелькали туфли. Фата туманилась над лицом, придавая ему торжественную целомудренную бледность.

Он был в черном, с иголки, костюме, напоминавшем фрак, и тщательно зачесанная, припомаженная шевелюра делала его похожим на тех красавцев, что изображают на одеколонных этикетках.

Невеста царственно прошла по проходу, учтиво образованному перед ней, остановилась возле Огня и поспешно положила цветы, как бы стесняясь всеобщего внимания. Он встал рядом, неловко замерев, как перед фотоаппаратом.

Андрей смотрел на невесту и не находил в ней того, что видел в остальных, столпившихся возле Вечного огня. В ее подведенных тушью, с модной раскосинкой глазах не было ни печали, ни трудной думы, ни отрешенности. Ее глаза выражали сейчас только одно — счастье свадьбы. Выскочивший сзади, из толпы, долговязый парень в кожаной куртке вскинул киноаппарат и застрочил по новобрачным, то и дело выбирая нужный ракурс. Молодые ушли шумно и весело — за чугунной оградой их поджидало перевитое лентами такси с лупоглазой куклой на радиаторе

«Где же Настя?» — опять вспомнил Андрей.

Очередь к Неизвестному не убывала, наоборот, она выглядела бесконечной и теперь словно вытекала из темноты, которая совсем уже сгустилась за чертой озаренного пламенем круга. Отблеск Огня ложился на лица, делая их похожими, как бы отлитыми из бронзы.

«Они, наверное, прошли... Конечно, прошли», — с безнадежностью подумал Андрей и вдруг увидел Настю. Да, это была она. Заслоняясь ладонью от света, Настя остановилась, замешкалась, приглядываясь и не сразу его узнавая. Но вот в блестящих ее глазах отразилось внезапное удивление, она отступила [342] в сторону, пропуская толпу, которая уже подталкивала, напирала сзади, и помахала рукой, пытаясь что-то сказать.

«Где Кузьмич?» — взглядом спросил Андрей. Наверное, она уловила его вопрос, Андрей понял это по ее лицу, сразу переменявшемуся, выразившему неловкость, беспомощность и отчаяние.

— Его уже нет... — услышал Андрей обессиленно перелетевший через толпу Настин голос. — Его уже нет! — отдельно прошевелили ее губы, со вскриком на последнем слове.

Пламя вздрогнуло и приникло к звезде.

«Как же так? Когда? — не поверил Андрей. — Я же ничего не успел ему рассказать! Я же нашел «поющие деревья»... Не может быть!»

Увлекаемая водоворотом толпы, Настя взмахнула рукой — уже невозможно было устоять на месте — и растворилась в темноте.

Пламя струилось так ярко, что на него теперь больно было смотреть.

«А как же Николай?» — огорчился Андрей, и ему показалось, будто в порывах пламени обозначились черные глаза, закруглились брови-вопросики. Но багровые извивы перемешались, переплелись, и огонь опять стал огнем.

«Как же Николай и как же Кузьмич?» — с чувством непоправимого, внезапно коснувшегося его горя подумал Андрей, ясно вдруг осознав, что уже больше никогда не увидит старика, а тот уже никогда не простит ему, пусть даже нечаянной, обиды. Стало нестерпимо жарко, сдавило дыхание, словно все слезы, какие он сегодня видел, чужие, холодные для него слезы накопились, закипели в нем и, жгучей волной окатив сердце, подступили к

горлу, к глазам, чтобы немедленно выплеснуться. Чувствуя, что задыхается, что не сможет больше удержать в себе эту переворачивающую душу боль, он глухо кашлянул, не разжимая губ, переступил с ноги на ногу и оперся на карабин.

И в этот момент где-то за домами впереди и над Кремлевской стеной загромыхал гром. Зарница высветила полнеба, еще раз вспыхнула вдалеке. И в мерцающей, недостижимо высокой глубине ослепительно-белыми, голубыми, красными, желтыми цветами начали распускаться невиданные деревья. Они [343]жили там, в небе, всего каких-то несколько мгновений, успев за это время родиться, вырасти, покачать радужными, диковинными ветвями и умереть — сверху искристо осыпались и гасли, не долетев до земли, огненные листья.

Андрей посмотрел за ограду: по площади, из конца в конец, рокотал, перекатывался людской океан. То в розовом, то в голубом переливчатом свете фейерверка лица виделись такими возбужденно-радостными, такими счастливыми, словно война закончилась только сегодня, сейчас, и о победе было объявлено минуту назад.

Огонь дышал ровно, успокоение...

ОТ АВТОРА

Каждый раз, спускаясь по улице Горького на знаменитую площадь, я всматриваюсь в мелькающий за узорчатой чугунной оградой огонек и думаю о тех, кто придет к нему через каких-то полвека, когда в живых не останется ни одного участника Великой войны. Сейчас это трудно представить, но ведь будет такое — ни одного пережившего войну! Даже в маршалы произведут генерала послевоенного года рождения.

Какими они придут сюда, люди грядущего, и что увидят в горячем, незатухающем пламени? Упадет ли на холодный мрамор хоть одна слеза, тронет ли, сожмет сердце еле заметная царапинка на солдатской каске? И кто встанет на священный пост, когда на всей земле останутся только роты почетного караула?